

100 великих романов

Валерий БРЮСОВ

# ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ





100 великих романов

Валерий Брюсов

**Огненный ангел**

«ВЕЧЕ»

1908

**Брюсов В. Я.**

Огненный ангел / В. Я. Брюсов — «ВЕЧЕ», 1908 — (100 великих романов)

ISBN 978-5-4444-8859-1

Действие романа происходит в Германии XVI века, но, как писал поэт Михаил Кузмин, «при всем историзме „Огненный ангел“ проникнут совершенно современным пафосом и чисто брюсовской страстностью». Брюсов раскрывает в этом произведении историю своих отношений с Ниной Перовской, которой и посвящена эта книга.

ISBN 978-5-4444-8859-1

© Брюсов В. Я., 1908

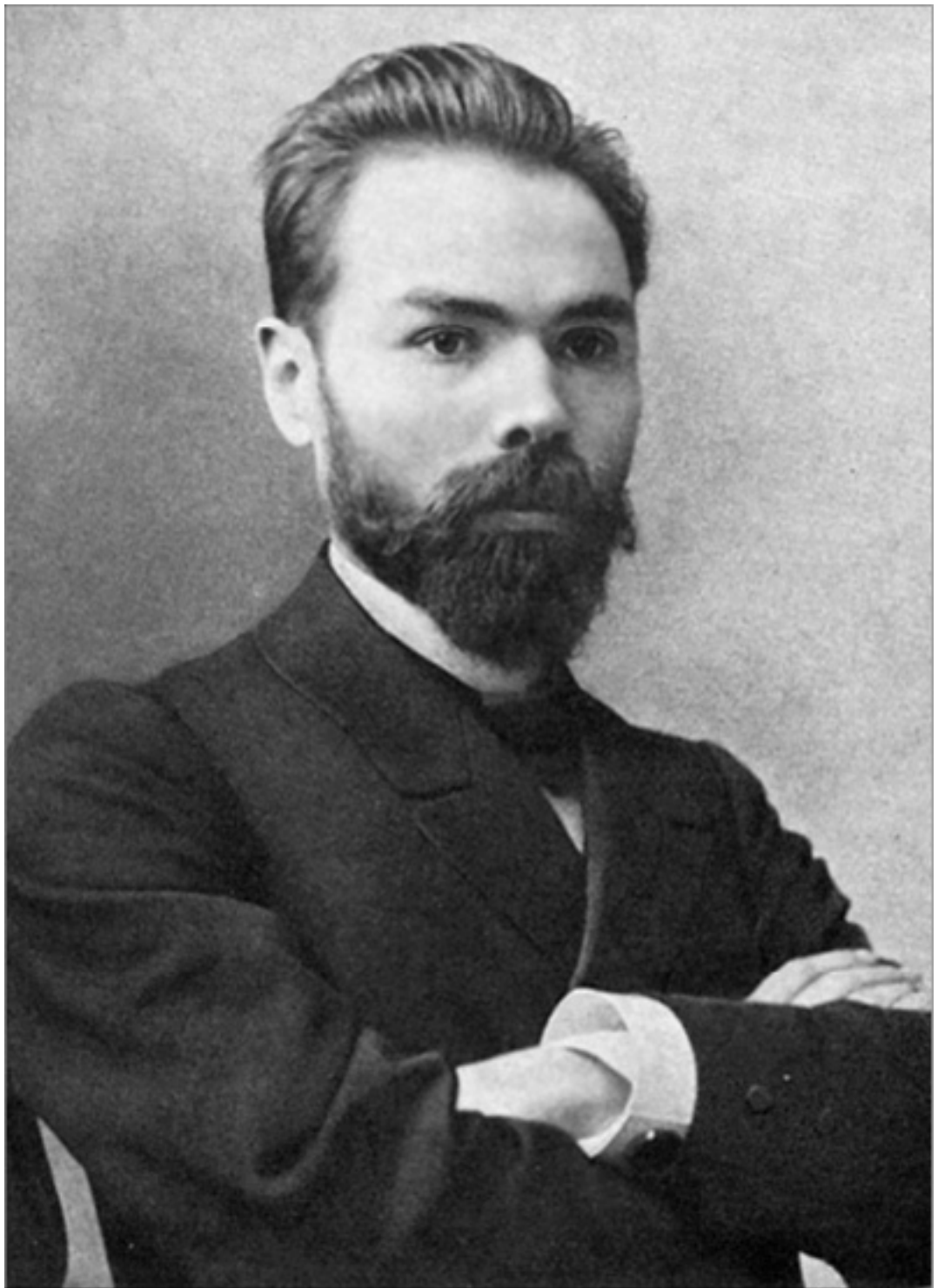
© ВЕЧЕ, 1908

## Содержание

Отличник Серебряного века	6
Предисловие к русскому изданию	8
Огненный ангел, или правдивая повесть,	10
Amico Lectori[5],	12
Глава первая	17
Глава вторая	25
Глава третья	32
I	32
II	37
Глава четвертая	42
I	42
II	47
Конец ознакомительного фрагмента.	51

## **Валерий Яковлевич Брюсов**

### **Огненный ангел**



*Валерий Яковлевич Брюсов*

## Отличник Серебряного века

Валерий Брюсов (1873–1924) по своей человеческой сути принадлежал к той породе людей, из которых вербуются отличники учебы. Такие люди обычно становятся превосходными продолжателями и очень редко первооткрывателями и первопроходцами.

Замечательный поэт и отменный переводчик, виртуоз стихосложения, прозаик, литературный критик и энциклопедически образованный теоретик, Брюсов все брал трудом и чутьем. Помогали ему в этом экстраординарные самолюбие, честолюбие, упорство и редкие организаторские способности. «Юность моя – юность гения», – без тени стеснения записывал он в своем дневнике через пять лет после того, как решил сделаться одним из «вождей» символизма, наимоднейшего направления в искусстве эпохи декаданса. И у него получилось: в Париже – Верлен (с которым он списался и которого переводил), в Петербурге – Мережковские (с которыми он познакомился и которых принимал в Москве), а в Москве – он, Брюсов.

Как отличник, он был фантастически переимчив. Французы добивались от стиха неслыханной музыкальности и зыбкости слов в нем – Брюсов тоже. Мережковский сочинил историсофскую трилогию «Христос и Антихрист» и пророчествовал о «Грядущем хаме» – и Брюсов сочиняет вслед свои исторические романы и на свой лад приветствует «Грядущих гуннов». Ажиотажный спрос на оккультизм, демонизм, урбанизм, вопросы пола, ура-патриотизм, научную поэзию – Брюсов и здесь в числе первых. Даже после 1917 года он не теряет лидирующих позиций: вступает в РКП(б), занимает ответственные посты в советских учреждениях, заседает в президиумах, становится зачинателем литературной «ленинианы» и ректором первого литинститута.

Резюме несколько гротескное, поскольку Брюсов крупнейшая фигура русского литературного символизма – поэт и писатель первого, «парадного» ряда, классик. По определению Набокова, один из пяти больших «Б» современной ему русской поэзии – наряду с Блоком, Бальмонтом, Белым и Буниным. У него есть ряд шедевров, Брюсова признавали своим учителем в той или иной степени поэты-младосимволисты (Белый, Волошин, Кузмин), акмеисты (Гумилёв, Мандельштам) и даже кое-кто из футуристов (Пастернак), у которых он и сам пытался чему-то научиться. Но высокообразованному мэтру и «мастеру» (ау, Булгаков!) не под силу было написать то, что играючи давалось неучу Маяковскому: «Я сразу смазал карту будней, / плеснувши краску из стакана; / я показал на блюде студня / косые скулы океана». Или же хулигану Есенину: «Как прыщавой курсистке / длинноволосый урод / говорит о мирах, / половой истекая истомою».

А ведь этот отрывок из поэмы Есенина «Черный человек» является карикатурным ключом к роману Брюсова «Огненный ангел». Точнее, одним из ключей, поскольку у этого романа тройное дно, как минимум.

Самый наглядный и поверхностный слой брюсовского романа – художественное отражение немецкой Смуты времен Реформации и Контрреформации, с целью понять происходящее в России по ходу первой русской революции 1905 года. Отчасти бегство от неуютной современности, отчасти историософская аналитика: что у этих смут общего и чем это чревато? Хотя поначалу не было никакой историософии, было лишь огромное впечатление от первой поездки на Запад в 1897 году. Было очарование германской культурой и европейской историей, влюбленность в грандиозный многовековой «недострой» Кёльнского собора, шедевр так называемой «пламенеющей готики» (закатной то есть) – утонченно перезрелой, все более эклектичной и декадентской. И была проделана Брюсовым огромная историческая реконструкция, с которой писатель справился настолько профессионально, что, когда роман оказался переведен в Германии, немцы не верили, что его автор не немец.

Второй слой романа – это свод большинства навязчивых идей, болезненных обольщений и эфемерных иллюзий европейского декаданса и русского символизма. От наркотического полета на шабаш на черном козле (на борове у Булгакова), присяги Сатане и ритуального целования его под хвост до сексуальных оргий, спиритических сеансов, ясновидческих трансов и модных «духовных браков». Шарахнувшись от Сциллы воцарившегося тупого позитивизма, творческая интеллигенция попала в водоворот Харибды мистической чертовщины.

В результате пересечения и наложения этих двух планов в романе образуется химерическое соседство исторических Лютера, Эразма Роттердамского, «Молота ведьм», суда инквизиции и Мюнстерского восстания – с воображаемыми беседами альтер-эго автора с Фаустом и Мефистофелем, с Агриппой Неттесгеймским, сочинившим фундаментальный трактат «Об оккультной философии».

И совсем уж сокровенный, хотя совершенно прозрачный для большинства современников Брюсова третий слой – это мифологизированное изложение вполне реальных перипетий в любовном треугольнике Валерия Брюсова с Ниной Петровской и Андреем Белым. Бедная замужняя истеричка, совершенно замороженная декадентами и символистами, последовательно переходившая из рук в руки от Бальмонта к Белому и далее к Брюсову, настолько уподобилась столь же замороженной Ренате из «Огненного ангела», что пыталась двух последних «Б» застрелить. Она билась в припадках, имела видения, интриговала, оставила Россию навсегда, приняла католичество и имя Рената, написала весьма ценные «Воспоминания» и в конце концов покончила с собой. Кажется, тогда не существовало статьи о доведении до самоубийства. Не только она была на совести женатого Брюсова, заигравшегося в демона и московского мага, со скрещенными на груди руками на фотографиях и портретах. Впрочем, она бы и без Брюсова добром не кончила.

Дух погибели витал над всем Серебряным веком, пытавшимся сочетать несочетаемое и завиравшимся все больше, все непростительнее. Истерия была общеевропейским диагнозом, чему порукой доктор Фрейд и дальнейшее развитие мировых событий. Самые благородные и гениальные умы начинали совершать непоправимые трагические ошибки. Может, потому, что у них не было сердца такого, чтобы любить, а только такое, чтобы мучиться и мучить? А может, и чёрт – мелкий бес, Антихрист, Огненный ангел...

Как художнику бывает необходима натурщица, так Брюсову понадобилась эта женщина, чтобы сделать ее героиней своего романа в обоих смыслах. Жестокий эксперимент удался – натура идеально подошла и справилась с ролью, превратив исторический роман в символистский и небезопасный. Читай его с осторожностью, читатель. Это тебе не «Имя розы» Умберто Эко, скорей уж «Код да Винчи».

*Игорь Клев*

## Предисловие к русскому изданию

Автор «Повести» в своем Предисловии сам рассказывает свою жизнь. Он родился в начале 1505 г. (по его счету в конце 1504 г.) в Трирском архиепископстве, учился в Кельнском университете, но курса не кончил, пополнил свое образование беспорядочным чтением, преимущественно сочинений гуманистов, потом поступил на военную службу, участвовал в походе в Италию 1527 г., побывал в Испании, наконец, перебрался в Америку, где и провел последние пять лет, предшествовавшие событиям, рассказанным в «Повести». Самое действие «Повести» обнимает время с августа 1534 по осень 1535 года.

Автор говорит (гл. XVI), что он писал свою повесть непосредственно после пережитых событий. Действительно, хотя уже с самых первых страниц он делает намеки на происшествия всего следующего года, из «Повести» не видно, чтобы автор знаком был с событиями более поздними. Он, например, ничего еще не знает об исходе Мюнстерского восстания (Мюнстер взят приступом в июне 1535 г.), о котором упоминает дважды (гл. III и XIII), и говорит об Ульрихе Цазии (гл. XII) как о человеке живом († 1535 г.). Сообразно с этим тон рассказа, хотя в общем и спокоен, так как автор передает события, уже отошедшие от него в прошлое, местами все же одушевлен страстью, так как прошлое это еще слишком близко от него.

Неоднократно автор заявляет, что он намерен писать одну правду (Предисловие, гл. IV, гл. V и др.). Что автор действительно стремился к этому, доказывается тем, что мы не находим в «Повести» анахронизмов, и тем, что его изображение личностей исторических соответствует историческим данным. Так, переданные нам автором «Повести» речи Агриппы и Иоганна Вейера (гл. VI) соответствуют идеям, выраженным этими писателями в их сочинениях, а изображенный им образ Фауста (гл. XI–XIII) довольно близко напоминает того Фауста, какого рисует нам его старейшее жизнеописание (написанное И. Шписсом и изданное в 1587 г.). Но, конечно, при всем добром желании автора, его изложение все же остается субъективным, как и все мемуары. Мы должны помнить, что он рассказывает события так, как они ему представлялись, что, по всем вероятностям, отличалось от того, как они происходили в действительности. Не мог избежать автор и мелких противоречий в своем длинном рассказе, вызванных естественной забывчивостью.

Автор говорит с гордостью (Предисловие), что, по образованию, не почитает себя ничем ниже «гордящихся двойным и тройным докторатом». Действительно, на протяжении «Повести» разбросано множество свидетельств разносторонних знаний автора, который, согласно с духом XVI в., стремился ознакомиться с самыми разнообразными сферами науки и деятельности. Автор говорит тоном знатока, о математике и архитектуре, о военном деле и живописи, о естествознании и философии и т. д., не считая его подробных рассуждений о разных отраслях оккультных знаний. Вместе с тем в «Повести» встречается множество цитат из авторов, древних и новых, и просто упоминаний имен знаменитых писателей и ученых. Надо, впрочем, заметить, что не все эти ссылки вполне идут к делу и что автор, по-видимому, щеголяет своей ученостью. То же надо сказать о фразах на языках латинском, испанском, французском и итальянском, которые автор вставляет в свой рассказ. Сколько можно судить, из иностранных языков, он, действительно, был знаком лишь с латинским, который в ту эпоху был общим языком образованных людей. Испанский язык он знал, вероятно, лишь практически, а знания его в языках итальянском и французском более чем сомнительны.

Автор называет себя последователем гуманизма (Предисловие, гл. X и др.). Мы можем принять это утверждение только с оговорками. Правда, он часто ссылается на различные положения, ставшие как бы аксиомами гуманистического мирозерцания (гл. I, IV, X и др.), с негодованием говорит о схоластике и приверженцах мирозерцания средневекового, но все же в нем самом еще очень много старинных предрассудков. Идеи, воспринятые при беспоря-



дочном чтении, смешались у него с традициями, внушенными с детства, и создали мировоззрение крайне противоречивое. Говоря с презрением о всяких суевериях, автор, порою, сам обнаруживает легкое верие крайнее; насмехаясь над школами, «где люди занимаются приискиванием новых слов», и всячески восхваляя наблюдение и опыт, он, по временам, способен путаться в схоластических софизмах и т. д.

Что касается до веры автора во все сверхъестественное, то в этом отношении он только шел за веком. Как это ни кажется нам странным, но именно в эпоху Возрождения началось усиленное развитие магических учений, длившееся весь XVI и XVII вв. Неопределенные колдования и гадания Средних веков были в XVI в. переработаны в стройную дисциплину наук, которых ученые насчитывали свыше двадцати (см., например, сочинение Агриппы: «*De speciebus magicis*»<sup>1</sup>). Дух века, стремившийся все рационализировать, сумел и магию сделать определенной рациональной доктриной, внес осмысленность и логику в гадания, научно обосновал полеты на шабаш и т. д. Веря в реальность магических явлений, автор «Повести» только следовал лучшим умам своего времени. Так, Жан Бодэн, знаменитый автор трактата «*De republica*»<sup>2</sup>, которого Бокль признавал одним из замечательнейших историков, в то же время автор книги «*La Démonomanie des sorciers*»<sup>3</sup>, подробно исследующий договоры с Дьяволом и полеты на шабаш; Амбруаз Парэ, преобразователь хирургии, описал природу демонов и виды одержания; Кеплер защищал свою мать от обвинения в ведовстве, не возражая против самого обвинения; племянник знаменитого Пико, Джованни-Франческо делла Мирандола, написал диалог «Ведьма», с целью убедить образованных, неверующих людей в существование ведьм; по его словам, скорее можно сомневаться в существовании Америки, и т. д. Папы издавали специальные буллы против ведьм, и во главе известного «*Malleus maleficarum*»<sup>4</sup> стоит текст: «*Haeresis est maxima opera maleficarum non credere*», т. е.: «Не верить в деяния ведьм – высшая ересь». Число этих неверящих было очень невелико, и среди них на видное место должно поставить упоминаемого в «Повести» Иоганна Вейера (или, по другой транскрипции его имени, Жана Вира), который первый признал в ведовстве особую болезнь.

*Валерий Брюсов*

<sup>1</sup> «О видах магии» (лат.).

<sup>2</sup> «О государстве» (лат.).

<sup>3</sup> «Демонomanия колдунов» (фр.).

<sup>4</sup> «Молот ведьм» (лат.).

## **Огненный ангел, или правдивая повесть,**

**В КОТОРОЙ РАССКАЗЫВАЕТСЯ О ДЬЯВОЛЕ, НЕ РАЗ  
ЯВЛЯВШЕМСЯ В ОБРАЗЕ СВЕТЛОГО ДУХА ОДНОЙ  
ДЕВУШКЕ И СОБЛАЗНИВШЕМ ЕЕ НА РАЗНЫЕ**

**ГРЕХОВНЫЕ ПОСТУПКИ, О БОГОПРОТИВНЫХ**

**ЗАНЯТИЯХ МАГИЕЙ, АСТРОЛОГИЕЙ, ГОТЕЙЕЙ  
И НЕКРОМАНТИЕЙ, О СУДЕ НАД ОНОЙ**

**ДЕВУШКОЙ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ЕГО**

**ПРЕПОДОБИЯ АРХИЕПИСКОПА ТРИРСКОГО,**

**А ТАКЖЕ О ВСТРЕЧАХ И БЕСЕДАХ**

**С РЫЦАРЕМ И ТРИЖДЫ ДОКТОРОМ**

**АГРИППОЮ ИЗ НЕТТЕСГЕЙМА**

**И ДОКТОРОМ ФАУСТОМ,**

**НАПИСАННАЯ**

**ОЧЕВИДЦЕМ**

**Non illustrium cuiquam virorum**

**artium laude doctrinaeve fama clarorum**

**at tibi**

**domina lucida demens infelix**

## **Amico Lectori<sup>5</sup>, предисловие автора, где рассказывается его жизнь до возвращения в немецкие земли**

Мне думается, что каждый, кому довелось быть свидетелем событий необычных и мало-понятных, должен оставлять их описание, сделанное искренно и беспристрастно. Но не одно только желание содействовать такому сложному делу, как изучение загадочной власти Дьявола и области ему доступной, побуждает меня предпринять это, лишенное прикрас, повествование о всем удивительном, что пережил я за последние двенадцать месяцев. Меня привлекает также возможность – открыть, на этих страницах, свое сердце, словно в немой исповеди, пред неведомым мне слухом, так как больше не к кому мне обратиться свои печальные признания и трудно молчать человеку, испытывавшему слишком много. Для того же, чтобы было видно тебе, благосклонный читатель, насколько можешь ты доверять бесхитроостному рассказу и насколько способен я был разумно оценивать все, что наблюдал, хочу я в коротких словах передать и всю мою судьбу.

Прежде всего скажу, что я не был юношей, неопытным и склонным к преувеличениям, когда повстречался с темным и с тайным в природе, так как переступил уже через грань, разделяющую нашу жизнь на две части. Родился я в Трирском курфюршестве в конце 1504 года от Воплощения Слова, февраля 5, в день Святой Агаты, что было в среду, – в небольшом селении, в долине Гохвальда, в Лозгейме. Дед мой был там цирульником и хирургом, а отец, получив на то привилегию от нашего курфюрста, практиковал как медик. Местные жители всегда высоко ценили его искусство и, вероятно, по сей день прибегают к его внимательной помощи, заболев. В семье нас было четверо детей: два сына, считая со мной, и две дочери. Старший из нас, брат Арним, успешно изучив ремесло отца, дома и в школах, был принят в корпорацию Трирскими медиками, а обе сестры удачно вышли замуж и поселились – Мария в Мерциге, а Луиза в Базеле. Я, получивший при святом крещении имя Рупрехта, был в семье самым младшим и оставался еще ребенком, когда брат и сестры стали уже самостоятельными.

Образование мое никак не может быть названо блистательным, хотя ныне, имев в жизни много случаев приобрести познания самые разнообразные, не почитаю я себя ничем ниже некоторых, гордящихся двойным и тройным докторатом. Отец мой мечтал, что я буду его преемником и что мне передаст он, как богатое наследство, и свое дело, и свой почет. Едва обучив меня грамоте, счету на абаке и начаткам латыни, он стал посвящать меня в тайны медикаментов, в афоризмы Гиппократов и в книгу Иоанникия Сирийского. Но мне с самого детства были ненавистны занятия усидчивые, требующие одного внимания и терпения. Только настойчивость отца, который со старческим упрямством не отступал от своего намерения, и постоянные увещания матери, женщины доброй и робкой, принудили меня сделать некоторые успехи в изучаемом предмете.

Для продолжения моего образования отец, когда мне было четырнадцать лет, послал меня в город Кельн, на Рейне, к своему старому другу Отфриду Герарду, думая, что мое прилежание возрастет от соревнования с товарищами. Однако университет этого города, откуда доминиканцы только что вели свою постыдную борьбу с Иоганном Рейхлином, не мог оживить во мне особое рвение к науке. В то время там хотя и начинались некоторые преобразования, но среди магистров почти вовсе не было последователей новых идей нашего времени, и факультет теологии все еще высился среди других, как башня над кровлями. Мне предлагали учить

---

<sup>5</sup> Другу читателю (лат.).

наизусть гексаметры из «Doctrinale»<sup>6</sup> Александра и вникать в «Copulata»<sup>7</sup> Петра Испанского. И если за годы моего пребывания в университете я научился чему-либо, то, конечно, не из школьных лекций, а только на уроках оборванных, странствующих преподавателей, которые появлялись порой и на улицах Кельна.

Не должен я (то было бы несправедливо) назвать себя лишенным способностей, и впоследствии, обладая хорошей памятью и быстрой сообразительностью, я без труда входил в рассуждения наиболее глубоких мыслителей древних и наших дней. То, что мне случилось узнать о работах нюрнбергского математика Бернгарда Вальтера, об открытиях и соображениях доктора Теофраста Парацельса, а тем более об увлекательных воззрениях живущего во Фрауенбурге астронома Николая Коперника, позволяет думать, что благодетельное оживление, переродившее в наш счастливый век и свободные искусства и философию, перейдет в будущем и на науки. Но пока не могут они не быть чужды каждому, сознающему себя, по своему духу, современником великого Эразма, путником долины человечности, *vallis humanitatis*. Я, по крайней мере, и в годы отрочества – бессознательно, и взрослым человеком – после размышлений, всегда не высоко ценил знание, почерпнутое новыми поколениями из старых книг и не проверенное исследованием действительности. Вместе с пламенным Джованни Пико Мирандолою, автором блистательной «Речи о достоинстве человека», готов я послать проклятие «школам, где люди занимаются приискиванием новых слов».

Чуждаясь в Кельне университетских лекций, я, однако, с тем большей страстностью предавался вольной жизни студентов. После строгости отчего дома мне очень по вкусу пришлось и удалое пьянство, и часы с покладистыми подругами, и картежная игра, захватывающая дух сменами случайностей. Я быстро освоился с разгульным времяпрепровождением, как и вообще с шумной городской жизнью, преисполненной вечной суетни и торопливости, которая составляет отличительную особенность наших дней и на которую с недоумением и негодованием смотрят старики, вспоминая тихое время доброго императора Фридриха. Целые дни проводил я с товарищами в проказах, не всегда невинных, переходя из питейных домов в веселые, распевая студенческие песни, вызывая на драку ремесленников и не гнушаясь пить чистую водку, что тогда, пятнадцать лет назад, далеко не было так распространено, как теперь. Даже влажная темнота ночи и звон замыкаемых уличных цепей не всегда заставляли нас идти на покой.

В такую жизнь был я погружен почти три зимы, пока не кончились для меня эти забавы несчастно. Неискушенное мое сердце разгорелось страстью к нашей соседке, жене хлебопекаря, бойкой и красивой, – со щеками, как снег, посыпанный лепестками роз, с губами, как сицилийские кораллы, и зубами, как цейлонские перлы, если говорить языком стихотворцев. Она не была неблагосклонна к юноше, статному и острому на слово, но желала от меня тех маленьких подарков, на которые, как отметил еще Овидий Назон, падки все женщины. Денег, посылаемых мне отцом, не доставало, чтобы выполнять ее прихотливые причуды, и вот, с одним из самых отчаянных своих сверстников, вовлекся я в очень нехорошее дело, которое не осталось скрытым, так что мне грозило заключение в городскую тюрьму. Только благодаря усиленным хлопотам Отфрида Герарда, пользовавшегося расположением влиятельного и очень замечательного по уму каноника, графа Германа фон Нейенара, был я освобожден от суда и отправлен к родителям для домашнего наказания.

Казалось бы, что этим должны были кончиться для меня школьные годы, но на деле тут только и началось для меня то учение, которому обязан я своим правом называться человеком просвещенным. Мне было семнадцать лет. Не получив в университете даже степени бакалавра, поселился я дома в жалком положении тунеядца и запятнавшего свою честь человека, от которого все отступились. Отец пытался приискать мне какое-либо дело и заставлял помогать ему

<sup>6</sup> «Наставление в учении» (лат.).

<sup>7</sup> «Сборник» (лат.).



в составлении лекарств, но я с упрямством уклонялся от нелюбезной мне профессии, предпочитая терпеть упреки в дармоедстве. Однако в уединенном нашем Аозгейме нашел я верного друга, полюбившего меня кротко и выведшего меня на новую дорогу. То был сын нашего аптекаря, Фридрих, юноша, немного меня старше, болезненный и странный. Отец его любил собирать и переплетать книги, особенно новые, печатные, и тратил на них весь излишек своих доходов, хотя сам читал редко. Фридрих же с самых ранних лет предавался чтению, как упительной страсти, и не знал высшей радости, как повторять вслух любимые страницы. За это почитали Фридриха в нашем городе не то юношей полоумным, не то человеком опасным, и был он столь же одинок, как я, так что нисколько не удивительно, что мы с ним сдружились, словно две птицы в одной клетке. Когда я не бродил с самострелом по кручам и склонам окрестных гор, шел я в маленькую каморку своего друга, на самом верху дома, под черепицами, и мы часы за часами проводили среди толстых томов древности и тоненьких книжек современных писателей.

Так, помогая друг другу, то вместе восхищаясь, то упорно споря, читали мы, и в зимние прохладные дни, и в летние звездные ночи, все, что могли достать в нашем захолустье, обращая чердак аптеки в Академию. Несмотря на то, что оба мы не очень-то были сильны в грамматике Цинтена, прочли мы немало латинских авторов, причем и таких, о которых не было речи в Университете ни на ординариях, ни на диспутах. У Катулла, Марциала, Кальпурния нашли мы, навсегда непревосходимые, образцы красоты и вкуса, до сих пор ярко живущие в моей памяти, а в творениях богоподобного Платона заглянули в самые глухие глубины человеческой мудрости, не все понимая, но всем потрясенные. В сочинениях нашего века, менее совершенных, но более нам близких, научились мы сознавать то, что уже раньше, не имея слов, жило и роилось в нашей душе. Мы увидели свои собственные, до тех пор еще туманные, взгляды, – в неистощимо-забавной «Похвале Глупости», в остроумных и благородных, что бы там ни говорили, «Разговорах», в мощном и неумолимом «Торжестве Венеры» и в тех «Письмах темных людей», которые мы не раз перечли от начала до конца и которым сама древность может противопоставить разве одного Лукиана.

Между тем то были те самые времена, о которых теперь говорят: кто в 23 году не умер, в 24 не утонул, а в 25 не был убит, – должен благодарить Бога за чудо. Но нас, занятых беседами с благороднейшими умами, почти не увлекали черные бури современности. Мы нисколько не сочувствовали нападению на Трир рыцаря Франца фон Зикингена, которого некоторые прославляли как друга лучших людей, но который на деле был человек старого закала, из числа разбойников, ставящих дешевой ставкой свою голову, чтобы ограбить проезжего. Наш архиепископ дал отпор насильнику, показав, что времена Флоризеля Никейского стали дедовскими преданиями. Точно так же, когда два следующих года по всем немецким землям, словно в сатанинской пляске, проносились народные мятежи и буйства и в нашем городе только и разговоров было, что об исходе восстаний, мы наших занятий не нарушали. Мечтателю Фридриху сначала казалось, что эта огненная и кровавая буря поможет установить в нашей стране больше порядка и справедливости, но скоро и он уверился, что ждать нечего от немецких крестьян, слишком еще диких и невежественных. Все свершившееся оправдало горькие слова одного из писателей: *rustica gens optima flens pessima gaudens*<sup>8</sup>.

Некоторые раздоры вызывали между нами первые слухи о Мартине Лютере, этом «непобедимом еретике», имевшем уже тогда немало сторонников среди владетельных князей. Уверяли, будто девять десятых Германии восклицало в те дни «Да здравствует Лютер», а позднее, в Испании, говорили, что у нас религия меняется, как погода, и майский жук летает между тремя церквями. Меня лично нисколько не занимал спор о благодати и пресуществлении, и я никогда не понимал, как Дезидерий Эразм, этот единственный гений, мог интересоваться монаше-

<sup>8</sup> Крестьяне лучше всего, когда плачут, хуже всего, когда радуются – выражение в книге Ф. Гиммерлина «Do nobilitate».

скими проповедями. Сознывая вместе с лучшими людьми современности, что вера заключается в глубине сердца, а не во внешних проявлениях, я по тому самому, ни в юности, ни в возрасте зрелом, никогда не чувствовал затруднения ни в обществе добрых католиков, ни среди испуганных лютеранцев. Напротив, Фридрих, которого в религии на каждом шагу пугали мрачные пропасти, находил какое-то непонятное мне откровение в книжках Лютера, правда, цветистых и не лишенных силы слога, – и наши споры переходили, порой, в обидные ссоры.

В начале 26 года, тотчас после святой Пасхи, приехали к нам в дом сестра Луиза с мужем. Жизнь при них стала для меня совсем нестерпима, так как они без устали осыпали меня упреками за то, что в двадцать лет остаюсь я ярмом на плечах отца и жерновом на очах матери. Около того же времени рыцарь Георг фон Фрундсберг, славный победитель французов, по поручению императора, вербовал в наших краях рекрутов. Тогда пришлось мне на ум стать вольным ландскнехтом, так как не видел я другого способа изменить свою жизнь, которая готова была застояться, как воды пруда. Фридрих, мечтавший было, что я сделаюсь видным писателем, – ибо оба мы с ним делали опыты подражать нашим любимым авторам, – очень опечалился, но не нашел доводов разубедить меня. Я объявил отцу, решительно и настойчиво, что выбираю военное ремесло, ибо мне более пристал меч, чем ланцет. Отец, как я и ожидал, пришел в гнев и запретил мне и думать о военном деле, сказав: «Всю жизнь я поправлял человеческие тела и не хочу, чтобы мой сын уродовал их». Своих денег, чтобы купить вооружение и одежду, не было ни у меня, ни у моего друга, и потому я решил покинуть родной кров тайно. Ночью, помнится, на 5 июня, незаметно вышел я из дому, взяв с собой 25 рейнских гульденов. Мне очень запомнилось, как Фридрих, проводив меня до выхода в поле, обнял меня, – увы, последний раз в жизни! – плача, у серой ветлы, бледный, в лунном озарении, как мертвец.

Я в тот день не чувствовал на сердце тяготы разлуки, так как сияла передо мной, как глубь майского утра, новая жизнь. Был я молод и силен, вербовщики приняли меня без спора, и я вступил в итальянское войско Фрундсберга. Все легко поймут, что потянувшиеся затем дни были не легки для меня, если только вспомнят, что такое наши ландскнехты: люди – буйные, грубые, неученые, щеголяющие пестротой одежды да затейливостью речи, ищущие только, как бы напиться пьянее да пожить лучше добычей. Почти страшно было после утонченных, как игла, шуток Марциала или возвышенных, как полет коршуна, соображений Марсилио Фичино, участвовать мне в безудержных забавах новых сотоварищей, и иногда казалась мне тогда моя жизнь сплошным удушливым сном. Но начальники мои не могли не заметить, что я отличаюсь от товарищей и знаниями и обхождением, а так как я притом хорошо владел аркебузой и не гнушался никаким делом, – то меня всегда отличали и поручали мне должности, более мне подходящие.

Ландскнехтом совершил я весь трудный поход в Италию, когда приходилось в зимнюю стужу переходить через снежные горы, идти вброд через реки по горло в воде и по целым неделям стоять лагерем в топкой грязи. Тогда же я участвовал во взятии приступом, соединенными испанскими и немецкими войсками, Вечного города, 6 мая 27 года. Мне довелось своими глазами видеть, как озверевшие солдаты грабили церкви Рима, совершали насилия в женских монастырях, ездили по улицам, надев митры, на папских мулах, бросали в Тибр Святые Дары и мощи святых, устроили конклав и провозгласили папой Мартина Лютера. После того я около года провел в разных городах Италии, ближе узнав жизнь страны, истинно просвещенной, остающейся блистающим образцом для других. Это дало мне возможность ознакомиться с пленительными созданиями современных итальянских художников, столь опередивших наших, кроме разве единственного Альбрехта Дюрера, – в том числе и с произведениями вечно оплакиваемого Рафаэля д'Урбино, достойного его соперника Себастиано дель Пиомбо, молодого, но всеобъемлющего гения Бенвенуто Челлини, с которым нам пришлось столкнуться и как с врагом, и несколько пренебрегающего красотой форм, но все же сильного и своеобразного, Микель-Анжело Буонаротти.

Весною следующего года лейтенант испанского отряда, дон Мигуэль де Гамес, приблизил меня к себе, как медика, ибо я уже несколько освоился с испанским языком. Вместе с доном Мигуэлем пришлось мне отправиться в Испанию, куда он был послан с тайными письмами к нашему императору, и эта поездка определила всю мою судьбу. Найдя двор в городе Толедо, мы повстречали там и величайшего из наших современников, героя, равного Аннибалам, Сципионам и другим мужам древности, – Фердинанда Кортеса, маркиза дель Валье-Оахаки. Прием, устроенный гордому завоевателю царств, а также рассказы людей, прибывших из страны, увлекательно описанной Америго Веспуччи, убедили меня искать счастья в этой обетованной для всех неудачников земле. Я присоединился к одной дружеской экспедиции, которую затеяли немцы, поселившиеся в Севилье, и поплыл с легким сердцем через Океан.

В Вест-Индии первоначально поступил я на службу к Королевской Аудиенсии, но вскоре, убедившись, сколь недобросовестно и неискусно ведет она дела и как несправедливо относится к дарованиям и заслугам, предпочел исполнять поручения тех немецких торговых домов, которые имеют свои отделения в Новом Свете, преимущественно Вельзеров, владеющих на Сан-Доминго медными рудниками, но также и Фугтеров, Эллингеров, Кромбергеров, Тецелей. Я совершил четыре похода на запад, на юг и на север, в поисках за новыми жилами руды, за россыпями драгоценных камней, – аметистов и изумрудов, – и за месторождением дорогих деревьев: дважды под начальством других лиц, а дважды лично руководя отрядом. Таким образом исходил я все страны от Чикоры до гавани Тумбес, проводя долгие месяцы среди темнокожих язычников, видел в туземных бревенчатых столицах такие богатства, пред которыми все сокровища нашей Европы ничто, и несколько раз избежав нависавшей гибели почти что чудом. Пришлось мне изведать и жестокие душевные потрясения в любви к одной индейской женщине, под темной кожей скрывавшей сердце привязчивое и страстное, но было бы здесь неуместно рассказывать о том подробнее. Скажу кратко: как тихие дни, проведенные за книгами с милым Фридрихом, воспитали мою мысль, так тревожные годы странствий закалили на огне испытаний мою волю и дали мне самое драгоценное качество мужчины: веру в себя.

Конечно, ошибочно воображают у нас, что за океаном золото надо просто, нагибаясь, подбирать на земле, но все же, проводя пять лет в Америке и Западной Индии, я, благодаря неуклонному труду, и не без поддержки счастья, собрал достаточные сбережения. Тогда-то овладела мною мысль поехать вновь в немецкие земли, не с тем, чтобы мирно поселиться в нашем, словно дремотном, городке, но не без суетного намерения похвалиться своими успехами перед отцом, который не мог не считать меня бездельником, его обокравшим. Не скрою, впрочем, что я испытывал и язвительную тоску, которой никогда не ожидал, по родным горам, где я, бывало, озлобленный, бродил с самострелом, и что страстно желал я увидеть как свою добрую мать, так и своего покинутого друга, ибо еще надеялся застать его живым. Однако у меня уже тогда было твердое решение, посетив родное селение и восстановив связи с семьей, вернуться в Новую Испанию, которую почитаю своим вторым отечеством.

Ранней весной 34 года отплыл я на корабле Вельзеров из гавани Вилла Рика де ла Вера-Крус и после бурного и трудного плавания прибыл в богатый Антверпен. Несколько недель ушло у меня на выполнение разных принятых на себя поручений, и только в августе месяце мог я, наконец, пуститься в путь в Прирейнскую область. С этого времени, собственно, и начинается мой рассказ.

## Глава первая

### Как я в первый раз встретился с Ренатой и как она рассказала мне всю свою жизнь

Из Нидерланд решил я отправиться сухим путем и выбрал дорогу через Кельн, так как мне хотелось увидеть еще раз этот город, где я знал немало привлекательных часов. За тридцать испанских эскудо купил я себе добрую лошадь, которая без труда могла везти меня и мои вещи, но, опасаясь разбойников, постарался принять облик небогатого моряка. Пестрое и сравнительно роскошное платье, которым щеголял в пышном Брабанте, я сменил на простую матросскую одежду темно-коричневого цвета и перевязал шаровары у колен. Не расстался я только со своей надежной длинной шпагой, потому что полагался на нее не менее, чем на святую Гертруду, покровительницу всех путешественников по суше. На дорожные издержки я оставил себе малую сумму денег в серебряных иоакимсталерах, а сбережения зашил внутри широкого пояса, в золотых пистолях.

Через пять дней приятного пути, со случайными попутчиками, ибо ехал я без лишней торопливости, переправился я через Маас в Венло. Не скрою, что овладело мною несколько недостойное мужчины волнение, когда достиг я местностей, где замелькали передо мною немецкие одежды и слуха моего, так привычно, коснулась бойкая, родная речь! Выехав из Венло рано, рассчитывал я к вечеру добраться до Нейсса, почему попрощался в Фирзене со своими спутниками, желавшими заехать в Гладбах, и свернул, уже один, на Дюссельдорфскую дорогу. Так как надо было спешить, то стал я понукать лошадь, но она, споткнувшись, зашибла о камень бабку, – и это ничтожное происшествие повело за собой, как прямая причина, длинный ряд поразительных событий, какие мне пришлось пережить после того дня. Но я уже давно заметил, что только ничтожные случаи бывают первыми звеньями в цепи тяжких испытаний, которую незримо и беззвучно кует порою для нас жизнь.

На хромавшей лошади я мог подвигаться вперед лишь медленно и был еще за-далеко от города, когда стало уже плохо видно в сером сумраке, а с травы поднялся едкий туман. Я проезжал в это время густым, буковым лесом и не без опаски помышлял о ночлеге в местности, мне совершенно незнакомой, как вдруг с поворота увидел, у самого края дороги, на небольшой просеке, весь скривившийся деревянный домик, одинокий, словно заблудившийся там. Ворота его были плотно заперты, и нижние окна походили скорее на большие бойницы, но под крышей болталась на веревке полуразбитая бутылка, указывавшая, что это – гостиница, и, подъехав, я начал колотить в ставню рукоятью шпаги. На мой решительный стук и на ожесточенный лай собаки выглянула хозяйка дома, но долго отказывалась впустить меня, расспрашивая, кто я и зачем еду. Я, совсем не подозревая, какого будущего сам добиваюсь для себя, настаивал с угрозами и бранью, так что, наконец, мне отперли дверь, а лошадь мою отвели в стойло.

По шаткой лестнице, в темноте, меня проводили в маленькую каморку второго этажа, узкую и неравномерную в ширину, как футляр для виолы. В то время как в Италии, даже в самых дешевых гостиницах, можно найти и мягко постланную постель, и вкусный ужин с бутылкою вина, у нас проезжающим, – кроме богачей, везущих за собой на мулах десятки набитых тюков, – все еще приходится довольствоваться черным хлебом, плохим пивом и ночлегом на старой соломе. Душным и тесным показался мне первый мой приют на родине, особенно после чистых, точно полированных спален в домиках тех нидерландских купцов, к которым доступ открывали мне рекомендательные письма. Но я знал и худшие ночи во время трудных странствий по Анагуаку, так что, покрывшись своим кожаным плащом, постарался поскорее с головою уйти в сон, не слушая, как в нижней зале пьяный голос напевал новую песенку, слова которой, однако, запомнились мне:

Ob dir ein Dirn gefelt,  
So schweig, hastu kein Gelt<sup>9</sup>.

Как бы я тогда был изумлен, засыпая, если бы некий пророческий голос сказал мне, что то был последний вечер одной моей жизни, за которым должна была начаться для меня жизнь другая! Моя судьба, перенеся меня через океан, задержала в пути ровно нужное число дней и подвела, словно к назначенной заранее мете, к далекому от города и деревень дому, где ждало меня роковое свидание. Какой-нибудь ученый монах-доминиканец увидел бы в этом явный промысел божий; ярый реалист нашел бы повод скорбеть о сложной связи причин и следствий, не укладывающихся в вертящихся кругах Раймунда Луллия; а я, когда думаю о тысячах и тысячах случайностей, которые были необходимы, чтобы в тот вечер оказался я на пути в Нейсс, в бедной придорожной гостинице, – теряю всякое различие между вещами обычными и сверхъестественными, между *miracula* и *natura*. Полагаю только, что первая моя встреча с Ренатою по меньшей мере столь же чудесна, как все необыкновенное и потрясающее, что впоследствии пережили мы с нею вместе.

Полночь, наверное, уже давно миновала, когда я внезапно проснулся, разбуженный чем-то для меня неожиданным. В моей комнате было достаточно светло от синевато-серебряного света луны, и кругом стояла такая тишина, словно вся земля и самые небеса умерли. Но затем, в этой безмолвии, различил я в соседней комнате, за дощатой перегородкой, женский шепот и слабые вскрики. Хотя дельная пословица и говорит, что путешественнику довольно заботы о своей спине и нечего жалеть о чужих плечах, и хотя никогда не отличался я чрезмерной чувствительностью, но с детства свойственная мне любовь к приключениям не могла не увлечь меня на защиту обиженной женщины, на что, как человек, прошедший в боях целые годы, имел я рыцарское право. Встав с постели и наполовину высвободив из ножен шпагу, вышел я из своей комнаты и в темном проходе, в котором оказался, легко разыскал дверь, за которой слышался голос. Громко я спросил, не нуждается ли кто в покровительстве, и когда повторил эти слова во второй раз и никто не отозвался, ударил в дверь и, сломав слабую задвижку, вошел.

Тогда-то я увидел в первый раз Ренату.

В такой же неприветливой комнате, как моя, и тоже озаренной достаточно ясно месячным сиянием, стояла, в потрясающем страхе, распластанная у стены, женщина, полураздетая, с распущенными волосами. Никакого другого человека здесь не было, потому что все углы были освещены отчетливо и тени, лежащие на полу, резки и ясны; но она, словно кто наступал на нее, простирала вперед руки, закрывая себя. И в этом движении было что-то до крайности устрашающее, ибо нельзя было не понять, что ей угрожает невидимый призрак. Заметив меня, женщина вдруг, с новым вскриком, кинулась мне навстречу, опустилась на колени передо мною, словно я был посланцем с неба, охватила меня судорожно и сказала мне, задыхаясь:

– Наконец, это ты, Рупрехт! У меня нет более сил!

Никогда до того дня не встречались мы с Ренатой, и она видела меня столь же в первый раз, как я ее, и, однако, она назвала меня по имени так просто, как если бы мы были друзьями с детских лет. Впоследствии сообразил я, что она могла услышать мое имя, когда я называл себя хозяйке гостиницы, но тогда был я поражен крайне. Однако, постаравшись, по примеру стоиков, не выказать нимало удивления, спросил я эту неизвестную женщину, коснувшись осторожно ее плеча, правда ли, что ее преследует видение. Но она не в силах была отвечать мне, то рыдая, то смеясь, и только указывала дрожащею рукою туда, где для моих глаз не было ничего, кроме лунного луча. Я не должен отказываться здесь, что необычность всей обстановки

---

<sup>9</sup> Коли понравилась тебе девка, // Так молчи, раз нет ни гроша (нем.).



и сознание близости нечеловеческих сил – охватили все мое существо темным ужасом, какого я не испытывал с раннего отрочества. Больше, чтобы успокоить безумную даму, чем потому, чтобы я сам верил в это средство, я обнажил совершенно шпагу и, взяв ее за лезвие, устремил перед собою крестообразным эфесом, так как слышал, что таким движением можно оборонить себя от приступов злой силы. Женщина же, затрепетав, словно в предсмертном борении, вдруг упала ниц.

Я не почел приличным для своей чести бежать оттуда, хотя и понял скоро, что злой демон овладел этой несчастной и начал страшно пытаться ее изнутри. Никогда до того дня не видел я таких содроганий и не подозревал, что человеческое тело может изгибаться так невероятно! На моих глазах женщина то вытягивалась мучительно и против всех законов природы, так что шея ее и грудь оставались твердыми, как дерево, и прямыми, как трость; то вдруг так сгибалась вперед, что голова и подбородок сближались с пальцами ног, и жилы на шее чудовищно напрягались; то, напротив, она удивительно откидывалась назад, и затылок ее был выворочен внутрь плеч, к спине, а бедра высоко подняты. Позднее я несколько раз бывал свидетелем таких мучений Ренаты, каким подвергали ее нападавшие на нее демоны, но в тот день зрелище ужаснуло меня своей новизной. Я смотрел на страдания и корчи незнакомой мне женщины, словно обращенный, вместе с женою Лота, в некий столп, не двигаясь с места, ибо не знал совершенно, чем мог бы тут оказать помощь или облегчение.

Понемногу женщина перестала биться о жесткие доски пола, и искаженные черты ее лица понемногу стали осмысленнее; но она все еще сгибалась в судорогах, опять прикрывая себя руками, как от врага. Тогда, предположив, что Дьявол вышел из нее и находится вне ее тела, я, привлекая женщину к себе, стал говорить слова святой молитвы, «*Libera me, Domine, de morte aeterna*»<sup>10</sup>, единственной, которая тогда мне пришла на память. Тем временем месяц уже закатывался за вершины леса, и по мере того как утренний сумрак завладевал комнатой, передвигая тень от стены к окну, женщина, лежавшая в моих руках, приходила в себя. Но темнота веяла на нее, словно холодная трамонтана Пиренейских гор, и она вся дрожала, как от зимней стужи.

Я спросил, удалился ли призрак.

Открыв глаза и обведя ими комнату, как после обморока, дама отвечала мне:

– Да, он рассеялся, видя, что мы хорошо вооружены против него. Он не может посягнуть на твердую волю.

Это были вторые слова, которые услышал я от Ренаты. Сказав их, она начала плакать, дрожа в лихорадке, и плакала так, что слезы безудержно лились у нее по щекам и мои пальцы стали совсем влажными. Видя, что дама не согреется на полу, я, несколько успокоенный, поднял ее без труда на руки, ибо она была маленького роста и исхудалая, и перенес на постель, стоявшую подле. Там я укрыл ее, чем мог найти в комнате, и уговаривал спокойными словами.

Но она, все продолжая плакать, перешла вдруг к новому волнению и, схватив меня за руку, сказала:

– Теперь, Рупрехт, я должна рассказать тебе всю мою жизнь, потому что ты спас меня и должен знать обо мне все.

Я попытался возразить, что теперь не время для такого повествования, но Рената, как казалось, даже не расслышала моих слов и, крепко сжимая мои пальцы, однако смотря в сторону от меня, начала говорить быстро-быстро. Первое время я почти не понимал ее речи, с такой стремительностью сменялись у нее мысли и так неожиданно переходила она от одного предмета к другому. Но постепенно научился я различать основное течение в неудержимом потоке ее слов и понял, что она действительно рассказывает мне о себе.

---

<sup>10</sup> «Освободи меня, Господи, от вечной погибели» (лат.).

Никогда после, даже в дни самой доверчивой нашей близости, не передавала мне Рената с такой последовательностью истории своей жизни. Правда, и в ту ночь она не только умолчала о своих родителях и о месте, где прошло ее детство, но даже, как мне пришлось потом с несомненностью убедиться, многие позднейшие события частью утаила, частью изложила неверно, – не знаю, намеренно ли, или по болезненному своему состоянию. Однако все же я долгое время знал о Ренате только то немногое, что сообщила она мне в этом горячечном рассказе, почему и должен передать его здесь подробно. Только я не сумею точно воспроизвести ее беспорядочную речь, торопливую и несвязную, которую должен буду заменить своим более последовательным повествованием.

Назвав свое имя, то единственное, под которым я ее знаю, и упомянув о первых годах своей жизни так бегло и неясно, что слова ее не удержались в моей памяти, Рената тотчас перешла к тому происшествию, которое сама считала для себя роковым.

Было Ренате лет восемь, когда впервые явился ей в комнате, в солнечном луче, ангел, весь как бы огненный, в белоснежной одежде. Лицо его блистало, глаза были голубые, как небо, а волосы словно из тонких золотых ниток. Ангел назвал себя – Мадизель. Рената нисколько не испугалась, и они играли в тот день с ангелом в куклы. После этого ангел стал приходить к ней часто, почти каждый день, всегда был весел и добр, так что девочка полюбила его больше всех своих родных и сверстниц. С неистощимой изобретательностью забавлял Мадизель Ренату шутками или рассказами, а когда она бывала огорчена, утешал нежно. Иногда с Мадизелем появлялись его товарищи, тоже ангелы, но не огненные, одетые в плащи пурпурного и лилового цвета; но они были менее ласковы. Строго запрещал Мадизель рассказывать о своих тайных посещениях, да если Рената и нарушала его требование, ей все равно не верили, думая, что она выдумывает или притворяется.

Не всегда Мадизель показывался в облике ангела, но часто и в других образах, особенно если Ренате мало приходилось оставаться одной. Так, летом, Мадизель не раз прилетал большой огненной бабочкой с белыми крыльями и золотыми усиками, и Рената прятала его в своих длинных волосах. Зимой иногда принимал ангел форму прялки, чтобы девочка могла неразлучно носить его всюду с собой. Еще узнавала Рената своего небесного друга то в сорванном цветке, то в уголке, выпавшем из очага, то в разгрызенном орешке. Порой вечером ложился Мадизель в постель с Ренатою и проводил с ней, прижимаясь, как кошка, время до утра. В такие ночи случалось, что ангел уносил Ренату на своих крыльях далеко от дому, показывал ей другие города, славные соборы или даже неземные, лучезарные селения, – на рассвете же она, сама не зная как, всегда оказывалась на своей кровати.

Когда Рената несколько подросла, Мадизель возвестил ей, что она будет святой, как Лотарингская Амалия, и что именно затем он и послан к ней. Он много говорил ей о жертве Иисуса Христа, о блаженной покорности Девы Марии, о сокровенных путях к запечатленным вратам земного рая, о святой Агнессе, неразлучной с кротким агнцем, о святой Веронике, вечно предстоящей пред образом Спасителя, и о многих других лицах и вещах, которые могли навести только на благочестивые размышления. По словам Ренаты, если и были у нее прежде сомнения, правда ли, что ее таинственный гость – посланник неба, они не могли не рассеяться дымом после этих речей, так как слуга Сатаны, конечно, не мог бы произносить такого количества святых имен без крайнего для себя мучения. Мадизель же, однажды, сам явился Ренате во образе Христа Распятого, и из его огненных, пронзенных рук струилась багрово-огненная кровь.

Ангел усердно заклинал Ренату вести строгую жизнь подвижницы, искать чистоты сердца и просветления ума, и она начала соблюдать все постные дни, установленные святой церковью, посещать каждый день мессу и много молиться наедине, в своей комнате, перед изображением распятия. Нередко Мадизель заставлял Ренату подвергать себя жестоким испытаниям: выходить обнаженной на холод, голодать и воздерживаться от питья по несколько суток подряд, бичевать себя узловатыми веревками по бедрам или терзать себе груди остриями. Рената

проводила по целым ночам на коленях, а Мадизэль, оставаясь подле, укреплял изнемогающую, как ангел Спасителя в саду Гефсиманском. По усиленной просьбе Ренаты коснулся Мадизэль ее рук, и у нее на ладонях означились язвы, как бы знаки Христовых крестных мук, но она эти раны скрывала ото всех людей тщательно. В те дни, благодаря божественной помощи, открылся у Ренаты дар чудотворения, и она исцеляла многих, словно благочестивейший король французский, одним прикосновением руки, так что во всей округе слыла девушкой, весьма угодной Господу.

Придя в возраст и видя, что девушки ее лет имеют женихов или возлюбленных, Рената приступила к своему ангелу с настойчивой просьбой, чтобы он сочетался с нею и телесно, так как, по его собственным словам, выше всего любовь, а что может быть грешного, если любящие будут связаны сколь можно теснее? Мадизэль живо опечалился, когда Рената высказала ему свои страстные пожелания: его лицо – так она рассказывала – стало при ее словах пепельно-огненным, словно солнце, на которое смотришь сквозь закопченную слюду. Он твердо воспретил Ренате даже думать о плотском, напоминая ей о безмерном блаженстве праведных душ в раю, куда не может вступить никто, предававшийся плотским соблазнам. Рената, не посмев настаивать открыто, порешила достичь своей цели хитростью. Как в дни детства, упросила она Мадизэля провести с нею ночь в постели, и там, обняв его и не выпуская из рук, всеми путями принуждала соединиться с собой. Но ангел, исполняясь великим гневом, развился в огненный столп и исчез, опалив Ренате плечи и волосы.

После того ангел много дней не являлся вовсе, и Рената пришла в крайнее уныние, потому что любила Мадизэля больше всех людей, больше всех бесплотных существ и самого Господа Бога. Дни и ночи проводила она в слезах, всех окружающих изумляя своим неутешным отчаяньем, лежала долгими часами как мертвая, билась головой о стены и даже искала добровольной смерти, думая хотя на единый миг в другой жизни увидеть своего возлюбленного. Неотступно обращала она к Мадизэлю мольбы, заклиная его вернуться к ней, обещая торжественно во всем подчиняться его благим решениям, только бы снова ощущать его близость. Наконец, когда силы уже покидали Ренату, показался ей Мадизэль в сновидении и сказал: «Так как ты хочешь быть со мною в телесном союзе, то я явлюсь тебе в образе человека; жди меня семь недель и семь дней».

Приблизительно через два месяца после этого видения узнала Рената приехавшего в их местность молодого графа из Австрии. Одевался он в белые одежды; глаза у него были голубые, а волосы словно из тонких золотых ниток, так что Рената тотчас признала, что это – Мадизэль. Но приехавший не хотел показать, что они знают друг друга, и называл себя графом Генрихом фон Оттергейм. Рената всеми способами стремилась привлечь на себя его внимание, не отказываясь даже от пособий ворожей и приворотных зелий. Неизвестно, эти ли средства помогли, или граф сам искал Ренату, только он открылся ей в сердечной любви и потребовал, чтобы она покинула с ним тайно родительский кров. Рената не могла колебаться ни одной минуты, и граф ночью увез ее и поселился с нею, по ее словам, в своем родном замке, на реке Дунае.

В замке графа Рената провела два года, и за это время они были так счастливы, как никто в мире после грехопадения нашего праотца в раю. Жизнь их всегда была близка к миру ангелов и демонов, и были они заняты великим делом, которое должно было принести счастье всем людям на земле. Печалило Ренату только одно: Генрих ни за что не хотел сознаться, что он – Мадизэль и ангел, упорно выдавая себя за верного подданного герцога Фердинанда. Однако к концу второго года их жизни душой Генриха внезапно овладели темные мысли; он стал сумрачным, унылым, печальным и однажды ночью, совершенно неожиданно, не предупреждая никого, покинул свой замок, уехав неизвестно куда. Рената ждала его несколько недель; но без своего руководителя не умела она защищаться от нападения злых духов, и они стали мучить ее беспощадно. Не желая оставаться в замке, где она не была хозяйкой, Рената порешила уйти и вернуться к родителям. Враждебные силы не оставляли ее и на пути, преследовали в поле и на

ночлегах, но в то же время добрые духи-покровители всячески обороняли ее и предупреждали, что скоро она повстречает рыцаря Рупрехта, который будет истинным защитником ее жизни.

Так рассказывала Рената, и я думаю, что речь ее заняла много больше часа, хотя я и передал теперь все гораздо короче. Говорила Рената не глядя на меня, не ожидая от меня ни возражений, ни согласия, словно даже обращаясь не ко мне, а исповедуясь пред незримым духовником. Передавая о таких событиях, какие, без сомнения, потрясли ее жестоко, или сообщая о вещах, которые многим показались бы постыдными и которые большинство женщин предпочло бы утаить, не выказывала она ни волнения, ни стыда. Я должен заметить, что первая половина рассказа Ренаты, хотя сначала она говорила непоследовательнее и сбивчивее, запомнилась мне отчетливо. Напротив, все, что случилось с нею после ее бегства из родительского дома, осталось для меня тогда очень неясным. Впоследствии узнал я, что именно в этом месте своей повести она особенно многое утаила и особенно многое передала несогласно с действительностью.

Едва проговорив последние слова, Рената вдруг вся ослабла, точно сил у нее было ровно столько, чтобы произнести все до конца. Она перевела на меня удивленный взгляд, потом глубоко вздохнула, поникла лицом на подушку и закрыла глаза. Я хотел встать с ее ложа, но она, ласково охватив меня руками, нежным насилием заставила лечь с нею рядом. Я уже не удивлялся ничему более в ту необычайную ночь и, повинувшись, опустил на постель около этой тогда совсем незнакомой мне женщины, не зная, как мне к ней относиться. Она любовно обвила мою шею и, прижавшись ко мне своим почти обнаженным телом, тотчас заснула, глубоко и безмятежно. Было уже светло от голубых лучей рассвета и, после испытанного, я почти смеялся, видя, как лежим мы двое, чужие, в незнакомой гостинице, в лесной глуши, обнявшись, в одной постели, словно в родном доме сестра и брат.

Когда я убедился, что Рената спит покойно, я осторожно высвободился из ее объятий, так как чувствовал необходимость освежить голову и остаться наедине. Внимательно посмотрел я в лицо спящей, и оно мне явилось нежным и невинным, как детские лики на картинах брата Беато Анжелико во Фьезоле, и почти невероятным мне показалось, что этой женщиной еще так недавно владел Дьявол. Тихо вышел я из комнаты, надел свою высокую шляпу и спустился вниз, а так как в доме все еще спали, сам отодвинул засов у двери и оказался прямо в лесу. Там пошел я уединенной тропинкой среди тяжелых буковых стволов, которые были мне милее, чем стройные пальмы или бакауты Америки, слушая раннее щебетание наших птиц, звучавшее мне как понятный язык.

Я никогда не принадлежал к числу людей, которые, следуя философам перипатетической школы, утверждают, что в природе нет бесплотных духов, отрицая существование демонов и даже святых ангелов. Я всегда находил, хотя до встречи с Ренатою и не был очевидцем ничего чудесного в жизни, что самое наблюдение и опыт, эти первые основания всякого разумного знания, доказывают неопровержимо присутствие в нашем мире, рядом с человеком, других духовных сил, которые христианами признаются за бесплотное воинство Христово и за служителей Сатаны. Помнил я также слова Лактанция Фирмиана, уверяющего, что иногда ангелы-хранители соблазняются прелестью тех девушек, души которых они должны бы оберегать от греха. Однако многие подробности в странном рассказе Ренаты с самого начала представились мне маловероятными и не допускающими признания. Видя, что встреченная мною женщина действительно находится во власти дьявольской, не знал я, где кончались обманы злого духа и где начиналась ложь ее слов.

Так, мучаясь догадками и недоразумениями, бродил я довольно долго по тропам незнакомоего леса, и солнце поднялось уже высоко, когда я вернулся к придорожной гостинице, где провел ночь. У ворот стояла хозяйка дома, женщина дородная, с красным лицом, сурового вида, похожая больше на предводительницу разбойников, которая, однако, признав меня, приветствовала учтиво, называя господином рыцарем. Я решил воспользоваться услужливым слу-

чаем, чтобы разведать о непонятной даме, и, подойдя ближе, спросил, голосом беспечным, словно бы мне хотелось лишь поболтать от нечего делать, – кто та женщина, комната которой была рядом с моей.

Вот, приблизительно слово в слово, то неожиданное, что ответила мне хозяйка гостиницы:

– Ах, господин рыцарь, лучше не спрашивайте про нее, потому что это мое доброе сердце заставило меня, может быть, совершить смертный грех, давая приют еретичке и подписавшей договор с Дьяволом! Она хотя нездешняя, но я знаю ее историю, потому что мне все рассказал один хороший мой приятель, странствующий купец из их мест. Женщина эта, которая прикидывается скромницей, на деле просто потаскушка и разными происками проникла в доверие графа Оттергейма, человека из самой благородной семьи, чей замок пониже Шпейера, на Рейне. Так она околдовала молодого графа, еще в раннем детстве лишившегося родителей, людей достойных и чтимых, что он, вместо того чтобы взять себе добрую жену и служить господину своему, курфюрсту Пфальцскому, занялся алхимией, магией и другими черными делами. Поверите ли, что с того дня, как поселилась у него в замке эта девка, они каждую ночь перекидывались, – он в волка, а она в волчиху, – и бегали по окрестностям; сколько за это время загрызли детей, жеребят и овец, – сказать трудно! Потом они наводили порчу на людей, лишали коров молока, вызывали грозу, губили урожай у своих врагов и совершали чародейской силой сотни других злодейств. Только вдруг графу в видении явилась святая Кресценция Дидрихская и обличила все его грешное поведение. Тогда граф принял на себя крест и ушел босым ко святому гробу Господню, а свою сожительницу приказал слугам прогнать из замка, и она пошла, скитаясь из селения в селение. Если я дала ей убежище, господин рыцарь, то только потому, что ничего тогда из этого не знала, но, видя теперь, как она тоскует и стонет днем и ночью, так как грешная ее душа не может успокоиться, не буду я ее держать у себя более ни одних суток, потому что не желаю быть пособницей Врага человеческого!

Эта речь домовой хозяйки, сказавшей еще много другого, поразила меня крайне, ибо не мог я не увидеть тотчас, как во многом обманывала меня моя ночная собеседница. Так, например, рассказывая мне ночью свою жизнь, уверяла она меня, будто замок ее друга стоял в Австрийском эрцгерцогстве, тогда как из слов хозяйки выходило, что этот замок был поблизости, на нашем Рейне. Мне представилось тогда, что моя соседка по комнате, приметив во мне человека приезжего и простого моряка, пожелала надо мной посмеяться, и эта мысль так отуманила мне голову негодованием, что я позабыл даже явные знаки одержания несчастной Дьяволом, чему был сам недавним свидетелем.

Но пока стоял я перед хозяйкой, продолжавшей свои жалобы, и не знал, что предпринять, вдруг раскрылась дверь дома, и появилась на пороге сама Рената. Она одета была в длинный плащ из шелка, синего цвета, с капюшоном, который покрывал ей лицо, и в розовую кофту с белыми и темно-синими украшениями, – как одеваются благородные дамы в Кельне. Держала она себя гордо и свободно, как герцогиня, так что я едва узнал в ней мою ночную бесноватую. Найдя меня глазами, Рената прямо направилась ко мне своей легкой походкой, напоминавшей полет, и когда я снял перед дамой шляпу, она сказала мне торопливо, но повелительно:

– Рупрехт! Нам надо ехать отсюда сейчас же, немедленно. Я более не могу оставаться здесь ни одного часа.

При звуке голоса Ренаты сразу исчезли из моей головы все рассуждения, только что роившиеся там, а из души то чувство негодования, которым я был полн за минуту перед тем. Слова этой женщины, еще вчера мне совершенно незнакомой, представились мне внезапно приказом, которого послушаться невозможно. И когда хозяйка гостиницы, вдруг переменив свой вежливый голос на очень грубый, стала требовать с Ренаты должных ей за комнату денег, я без малейшего колебания тотчас сказал, что все будет по справедливости уплачено. Потом я спро-



сил Ренату, есть ли у нее лошадь, чтобы продолжать путь, так как в этой глуши, конечно, не легко разыскать хорошую.

– У меня нет лошади, – сказала мне Рената, – но отсюда недалеко до города. Ты можешь посадить меня на свое седло и вести коня на поводу. В городе же нетрудно будет купить другую лошадь.

Эти распоряжения Рената отдала с такой уверенностью, как если бы между нами уже было условлено, что я должен служить ей. И всего замечательнее, что я, в ответ на эти слова, только поклонился и пошел в свою комнату – сделать последние приготовления к отъезду.

Только очутившись наедине, я вдруг опомнился и с изумлением спросил себя, почему так покорно принял роль, предложенную мне моей новой знакомой. Одно время подумал я, что она повлияла на меня каким-либо тайным магическим средством. Потом, посмеявшись в душе над своей легковерностью, я, чтобы оправдаться перед самим собою, сказал себе так:

«Что за беда, если я истрачу несколько денег и несколько лишних дней в пути! Эта девушка привлекательна и стоит такой жертвы; а я после трудностей путешествия могу позволить себе обычное развлечение. К тому же она вчера забавлялась мною, и надо показать ей, что я не такой неуч и невежда, каким она меня почитает. Теперь я позабавлюсь с нею в пути, пока она мне не наскучит, а после брошу ее. А до того, что ее преследует Дьявол, мне нет особого дела, и я не побоюсь никакого демона в сношениях с красивой женщиной, если не боялся краснокожих с их отравленными стрелами».

Постаравшись убедить себя, что моя встреча с Ренатой только забавное приключение, одно из тех, о которых мужчины, посмеиваясь, рассказывают приятелям в пивных домах, я нарочно с важностью пощупал свой тугой и тяжелый пояс и напомнил себе песенку, которую слышал вечером:

Ob dir ein Dirn gefelt,  
So schweig, hastu kein Gelt.

Вскоре затем, подкрепив свои силы в гостинице молоком и хлебом, мы собрались в путь. Я помог Ренате сесть на свою лошадь, совершенно оправившуюся за ночь. К свертку с моими вещами прибавилась еще поклажа моей новой спутницы, впрочем, весьма не тяжелая. Рената была тем утром весела, как горlinka, много смеялась, шутила и дружелюбно прощалась с хозяйкой. Когда, наконец, мы двинулись в дорогу, Рената – на лошади, я – идя рядом с ней, то держа лошадь за узду, то опираясь на луку седла, все обитатели гостиницы столпились у ворот, провожая нас и прощаясь с нами не без насмешки. Помню, что мне стыдно было, повернув голову, взглянуть на них.

## Глава вторая

### Что предсказала нам деревенская ворожея и как провели мы ночь в Дюссельдорфе

От гостиницы дорога еще некоторое время шла лесом. Было прохладно и тенисто, и мы с Ренатою, тихо подвигаясь вперед, разговаривали, не уставая. Несмотря на жизнь воина, я не был чужд общества, ибо случалось мне в итальянских городах посещать и карнавальные маскарады, и театральные исполнения, а позднее, в Новой Испании, бывал я на вечеровых собраниях в местных богатых домах, где царит вовсе не варварство дикой страны, как думается многим, а напротив, где изящные дамы играют на лютнях, цитрах и флейтах и танцуют с кавалерами альгарду, пассионезу, мавританский и другие новейшие танцы. Стараясь показать Ренате, что под моей грубой матросской курткой скрывается человек, не чуждый просвещению, был я счастливо удивлен, найдя в своей собеседнице остроту ума и много знаний, не совсем обычных у женщины, – так что невольно насторожились все способности моей души, как у опытного фехтовальщика, неожиданно встретившего у своего противника ловкий клинок. О ночных видениях оба мы не произнесли ни слова, и можно было представить, видя, как мы болтаем весело, что я мирно провожаю даму с торжественного турнира.

На вопрос мой, куда следует нам направляться, Рената ответила, не задумываясь, что в Кельн, так как там есть у нее родственники, у которых она хочет остаться некоторое время, – и я был рад, что мне не приходилось менять избранного пути. Мысль, что странное наше знакомство не затянется слишком долго, и уязвила меня больно, и вместе не совсем была мне неприятна; только подумал я втайне, что не должно мне терять времени, если хочу я вознаградить себя за все упущенное накануне. Вот почему разговору постарался я придать легкость и свободу, словно диалогу в итальянской комедии, и, ободряемый благосклонными улыбками спутницы, хотя и сохранявшей некоторую отчужденность существа высшего, я порой отваживался целовать ее руку и делать ей намеки очень лукавые, которые Рената, как мне казалось, принимала с откровенной благосклонностью.

Так как я предложил провести ночь, минуя маленький Нейсс, в Дюссельдорфе, где можно было найти лучшие гостиницы и откуда в Кельн – удобный путь по Рейну, на что Рената согласилась с беспечностью принцессы, то мы свернули из лесу на большую проезжую дорогу, где уже часто стали нам попадаться и отдельные путешественники, и обозы, сопровождаемые стражей. Но переезд через открытое поле, под прямыми лучами дня, был достаточно утомителен как для Ренаты, ехавшей на седле, не приспособленном для дамской посадки, так и для меня, которому надо было поспевать за широким шагом лошади. Чтоб переждать знойные часы, пришлось нам искать приюта в людной деревушке Геердт, лежавшей на нашем пути. Там-то рок и устроил нам вторую засаду, уже замышляя коварно весь ужас следующих дней.

Нам сразу показалось необычным, что в деревне все было приспособлено для отдыха путешественников и что многие из ехавших в одном направлении с нами – тоже остановились в Геердте. Я осведомился о причине этого у крестьянки, в доме которой мы отдыхали и завтракали, и, с гордостью и похвальбой, та объяснила нам, что их селение славится на всю округу ворожеей, гадающей с мастерством удивительным. Не только из ближних мест, по словам говорившей, собираются ежедневно десятки людей, но приходят узнать свою судьбу многие из дальних сел и городов, даже из Падерборна и Вестфалии, так как слава о Геердтской ворожее разошлась по всем немецким землям.

Слова эти были для Ренаты как свист заклинателя для змеи, потому что сразу она, позабыв все наши шутки и предположения, пришла в величайшее волнение и захотела сейчас же

бежать к колдунье. Напрасно уговаривал я Ренату отдохнуть, она не хотела даже закончить нашей полдненной меренды, торопя меня и повторяя:

– Идем, Рупрехт, идем сейчас, а то она устанет и не будет так ясно видеть в будущем.

Нас проводили к домику на краю деревни. У входа, стоя и разместившись на лежащих бревнах, ждала целая толпа народа, словно на церковной паперти в рождественскую ночь. Были здесь люди самые различные, которым редко случается сходиться вместе: знатные, в шелку и бархате, дамы, прибывшие в закрытых повозках, горожане в темном платье, охотники в зеленых кафтанах, крестьяне в загнутых шапках, даже нищие, воры и всякая голь. Слышался говор на всех прирейнских наречиях, и голландский язык, и, порой, ротвельш. Было похоже, как если бы в маленьком местечке остановился владетельный князь, и это перед его покоями толпились просители и свита.

Надо было ждать своей очереди и поневоле выслушивать шедшие кругом беседы, которые весьма занимали Ренату, но мне казались надоедливymi. Однако здесь в первый раз увидел я, как беспредельно море предрассуждений и как много к справедливому страху пред силой магиков и ухищрениями волшебниц присоединяется детского и пустого предубеждения. Говорили, как то и подобало при таких обстоятельствах, о разных гаданиях и приметах, талисманах и ладанках, тайных средствах и заговорных словах, и все, как богато одетые дамы, так и бродяги без плаща, изумляли меня своими познаниями в этих делах. Мне, как и каждому, случалось в детстве видеть, что женщины кружат кур около печного горшка, чтобы они не убежали из дому, или утром, когда причесываются, плюют на волосы, оставшиеся в гребне, чтобы избавиться от дурного глаза, или слышать, как словами «sista, pista, rista, xista», повторенными десять раз, пытаются излечиться от боли в пояснице, а восклицанием «och, och» от укуса блох, – но тут передо мной разверзлась плотина и затопил меня целый потоп поверий. Наперерыв говорили и о том, как защищаться серой от чародеев, и как приворожить девушку, подкинув ей жабу, и как отводить узелками глаза ревнивому мужу, и как добиться заговором, чтобы урожай винограда был больше, и какие чулки помогают женщине в родах, и из чего отлита пуля, которая всегда попадает в цель, – и приходилось, слушая, думать, что на каждом шагу нас подстерегает примета.

Помню, был там какой-то безбородый, расслабленный старик, одетый, словно лекарь, во все черное; он непрестанно расхваливал ворожею и говорил при этом так:

– Уж мне вы поверьте! Я ли не знаю гадалыщиков и ворожей? Больше пятидесяти лет по ним хожу: все искал верных. Был в Далмации и, дальше того, ездил через море в Фец к мухацциминам. Испытал гадание и на костях, и на воске, и на картах, и на бобах; хиромантию, кристалломантию, катоптромаантию и геомантию; прибегал к гоетейе и некромантии, а гороскопов сколько мне составляли, – и не упомяну! Только всё мне говорили неправду, и десятая доля из предсказаний не сбывалась. Здесь же старуха читает в прошлом, как в печатной книге, а про будущее говорит, словно бывает в совете с Господом Богом каждодневно. Мне рассказала из моей жизни такое, что я сам позабыл, а про то, что ждет меня, прямо по пальцам сосчитала.

Слушая этого дряхлого краснобая, думал я, что, пожалуй, перестал бы верить в гадания, если бы и меня они обманывали добрые полстолетия, а так же и то, стоит ли заглядывать в будущее, когда уж по пояс стоишь в могиле. Но никому я не хотел ничего возразить и, пока Рената, все не меняя своего гордого вида, расспрашивала про амулеты и любовные зелья, покорно ждал нашей очереди войти в дом.

Наконец рыжий парень, которого звали сыном ворожеи, поманил нас рукой и, взяв с нас установленную плату, по восемнадцать крейцеров, пропустил в двери.

Внутри дома стоял полумрак, потому что окна были завешаны темно-красными тканями, и душно пахло сушеными травами. Хотя было на дворе очень жарко, в очаге горел огонь. При его свете разглядел я на полу кота, – животное, любезное при всех волшебствах; под потолком висела клетка, кажется, с белым дроздом. Сама ворожея, старуха, с морщинистым лицом,

сидела за столом у задней стены. Она была одета в особую рубаху, как обычно колдуньи, с изображением крестов и рогов, а голова ее была покрыта красным платком с монистами. Перед ворожеей стояли жбаны с водой, лежали сверточки с кореньями, разные другие вещи, – и она, бормоча что-то, быстро перебирала все это руками.

Подняв на нас глаза, впалые и пронзительные, старуха зашамкала приветливо:

– Вы, красавцы, чего пришли искать у бабушки? Тепленькой постельки здесь нет, а доски голые. Но ничего, ничего, потерпите, всему свой черед придет. Было время землянике, а будет и яблокам. Так вам погадать, голубчики?

Я не без разочарования выслушал эти грубые прибаутки, и даже остатки любопытства покинули меня, Рената же отнеслась с самого начала к болтовне ворожеи с непонятным для меня доверием. А старуха, все шепча, как пьяная, пошарила кругом руками, нашла яйцо и выпустила белок в воду, которая замутилась. Глядя в облачные формы, развивавшиеся в воде, ворожея стала нам предсказывать, и мне казалось, что ее слова – плохой обман.

– Вот вам, детки мои, дорога, только не дальняя. Куда едете, туда и поезжайте: ждет вас там исполнение желаний. Один строгий человек угрожает вас разлучить, но вы одним ремешком опоясаны. Будет, будет вам тепленькая постелька, красавцы мои!

Старуха и еще что-то попричитала, а потом поманила нас к себе, говоря:

– Подойдите, птенчики милые, я вам дам травки одной, хорошей травки: раз в году она цветет, ровнехонько один, в ночь под самый Иванов день.

Мы, не ожидая дурного, приблизились к ворожее. Но вдруг на сморщенном лице ее рот перекосялся, а глаза стали круглые, как у щуки, и черные, как два угля. Она сразу потянулась вперед и, цепкими пальцами, словно железным крючком, захватив мою куртку, уже не забормотала, а, как змея, зашипела:

– Молодчик, это что, это что у тебя? На куртке-то у тебя, и у тебя, красавица, на кофте? Кровь-то это откуда? Столько крови, откуда? Вся куртка в крови, и вся кофта в крови. И течет кровь и пахнет!

При этом ноздри горбатого носа старухи раздувались, вдыхая запах, и она тряслась всем телом или от радости, или от страха. Но мне от этого шипа и от этих слов стало не по себе, а Рената так зашаталась около меня, что могла сейчас же упасть. Тогда я рванулся из крепких тисков обезьяны, опрокинул стол, так что стекла разбились и вода потекла, и, подхватив Ренату одной рукой, другой взялся за шпагу, закричав:

– Прочь, ведьма! Не то я проколю твое проклятое тело, как рыбу!

Старуха же, в неистовстве, все хваталась за нас, вопя: «Кровь! Кровь!»

На шум вбежал к нам сын ворожеи, ударом кулака сшиб свою мать с ног, а нас начал осыпать непристойной бранью. Мне представилось, что такие происшествия были для него не новостью и что он знал, как в этом случае взяться. Я же поспешно повлек Ренату на воздух, и мы, насильственно протиснувшись сквозь толпу, нас окружившую и засыпавшую, как горохом, расспросами о том, что произошло, поспешили к тому дому, где осталась наша поклажа.

Тотчас же я сказал оседлать нашу лошадь, чтобы ехать далее по прерванному пути. Но уже всю веселость и всю говорливость Ренаты точно кто-то срезал серпом, и она не хотела произнести ни слова и почти не подымала глаз. Когда я помогал Ренате подняться на седло, она клонилась, как надломленный стебель и поводья выпадали из ее рук. Движениями и действиями она, должно быть, в совершенстве напоминала чудесный автомат Альберта Великого. Так печально выехали мы из Геердта и потянулись по дороге к Рейну.

Чтобы разуверить Ренату в гадании ворожеи, попытался я тогда изобразить ей все, что случилось, в смешном зеркале и начал вспоминать всевозможные случаи, о каких только слышал, как предсказания не сбылись или были обращаемы против авгуров: например, о гадателе, который предрек миланскому герцогу Джангалеаццо Висконти скорую смерть, а себе долгую жизнь, но был немедленно умерщвлен герцогом; о человеке, которому провидец объяснил, что

он умрет от белой лошади, и который, хотя избегал с тех пор всяких лошадей, даже гнедых, пегих и вороных, погиб оттого, что на него упала на улице трактирная вывеска с изображением белой лошади; о юноше, которому цыганка точно назначила день и час смерти и который нарочно прокутил к этому времени все свое пышное состояние, и потом, видя, что он разорен, а смерть не приходит, покончил жизнь ударом меча, – и другие подобные истории, которыми тешатся горожане в зимние вечера, греясь около разложенного в печи огня.

Но Рената ничем не выражала, что понимает или хотя бы слушает мои речи, и в конце концов не мог не замолчать и я, и остальную часть пути мы совершили в полном безмолвии. Идя около седла, где сидела, в мертвом унынии, Рената, я иногда всматривался внимательно в черты ее лица, с которыми позднее так свыкся мой взор, и разбирал его, как ценитель разбирает мраморные статуи. Я тогда же подметил, что ноздри у Ренаты были слишком тонкими, а от подбородка к ушам щеки уходили как-то наискось, причем самые уши, в которых поблескивали золотые сережки, были посажены неверно и слишком высоко; что глаза были прорезаны не совсем прямо, и их ресницы чересчур длинны, и что вообще все в лице ее было неправильным. Судя по лицу, скорей почел бы я Ренату итальянкой, но на нашем языке говорила она, как на родном, со всеми особенностями мейссенского говора. При всем том была в Ренате некоторая особая прелесть, какое-то Клеопатрово очарование, так что уже в тот день, еще не зная ее вовсе, было мне почти радостно только смотреть на нее, – теперь же, вспоминая об ней, не могу я даже вообразить женского облика, который показался бы мне прекраснее и желаннее.

Наконец после тягостного переезда и после переправы через Рейн достигли мы Дюссельдорфа, столицы Берга, города, который так быстро возрастает за последние годы, благодаря заботам своего герцога, и который уже теперь может равняться с красивейшими немецкими городами. В городе я разыскал хорошую гостиницу под вывеской «Im Lewen»<sup>11</sup> и за щедрую плату получил две самых лучших в доме комнаты, так как хотел, чтобы Рената имела и подходящую ей роскошь обстановки, и все мыслимые в путешествии удобства. Но Рената, казалось мне, не замечала моих стараний, и можно было подумать, что среди полированной мебели, среди изразцовых каминов и зеркал – она чувствовала себя не иначе, чем на скудных, нетесаных скамьях деревенской гостиницы.

Трактирщик, приняв нас за людей богатых, пригласил нас обедать за свой стол, или, как говорят французы, за *table d'hôte*<sup>12</sup>, и угощал очень усердно, хваляя свой добрый Бахарахский рейнвейн. Но Рената, телом присутствуя за нашим столом, была думами далеко, почти не прикасалась к блюдам и не вникала в разговор, хотя я и делал всяческие попытки, чтобы вдохнуть в нее дыхание жизни. Я рассказывал о дивах Нового Света, которые мне довелось видеть, о лестницах в храмах майев с изваянными гигантскими масками, о непомерных кактусах, в стволе которых может отдыхать всадник, об опасных охотах на серого медведя и пятнистого унца и об отдельных своих приключениях, не забывая украсить речь или мнениями современного писателя, или стихами древнего поэта. Трактирщик и его жена слушали разинув рты, но Рената внезапно, на половине моего слова, поднялась из-за стола и сказала:

– Неужели тебе самому не скучно болтать такие пустяки, Рупрехт! Прощайте.

И, не прибавив ни слова, она встала и вышла из комнаты, к большому удивлению всех присутствующих. Тогда мне и в голову не могло прийти рассердиться на ее суровые слова и странный поступок, но испугался я только, как бы не захотела она меня покинуть вовсе. Потому, также вскочив и торопливо произнеся несколько извинений перед сидевшими за столом, я поспешил за нею.

В своей комнате Рената молча села в углу, на стул, и осталась неподвижной и безмолвной, а я, уже не смея заговорить, робко опустился подле нее на пол. Так и остались мы сидеть

<sup>11</sup> «У льва» (нем.).

<sup>12</sup> Общий стол (фр.).



в уединенной комнате, не начиная беседы, и, вероятно, со стороны показались бы неподвижным созданием, искусной рукой вырезанным из окрашенного дерева. Слева от нас в два больших открытых окна виднелись черепитчатые кровли извилистых улиц Дюссельдорфа и торжествующая над домовыми крышами колокольня церкви св. Ламберта. Синевя вечера разливалась над этими треугольниками и квадратами, разрушая четкость их линий и соединяя их в бесформенные громады. Та же синевя вечера втекала в комнату и обволакивала нас широкими полотнищами темного савана, но в темноте только ярче светились полукруглые серьги Ренаты и более отчетливо вырисовывались ее тонкие, белые руки. Помню, что я смотрел на нее молча, как если бы не мог произнести ни слова, и что мы долго просидели так в безмолвии и бездействии, пока все кругом не стихло по-ночному.

Наконец, сделав такое усилие воли, как если бы мне надо было принять решение величайшей важности или совершить опаснейший поступок, оторвал я свои глаза от Ренаты и произнес какие-то простые слова, кажется эти:

– Быть может, вы устали, благородная дама, и хотите отдохнуть: я уйду...

Мой голос, прозвучавший после долгого молчания, показался мне неестественным и неуместным, но звуки его все же сломали тот волшебный круг, в котором мы были заключены. Рената неспешно обратила ко мне свое тихое лицо, потом губы ее отклеились одна от другой, и она проговорила несколько слов, почти беззвучных, – так, как выговорил бы свой ответ, под влиянием магического чуда, мертвец:

– Нет, Рупрехт, ты не должен уходить, я не могу остаться одна: мне страшно.

Потом, после нескольких минут молчания, словно бы мысли ее катились медленно, Рената прибавила еще:

– Но она сказала, чтобы мы ехали, куда едем, так как там нас ждет исполнение желаний. Значит, мы в Кельне встретим Генриха. Я и раньше знала это, а старуха только прочла в моих мыслях.

Во мне, как огонек из-под пепла, вспыхнула в ту минуту смелость, и я возразил:

– Зачем быть вашему графу Генриху в Кельне, если его земли на Дунае?

Но Рената не заметила жала, скрытого в моем вопросе, и, уловив только одно выражение, схватилась за него лихорадочно.

Она переспросила меня:

– Мой граф Генрих? Как мой? Разве все мое в то же время не твое, Рупрехт? Разве есть между нами грань, черта, отделяющая мое существо от твоего? Разве мы – не одно и моя боль не пронзает твоего сердца?

Я был такой речью ошеломлен, как палицей, ибо хотя уже тогда был весь под чарами Ренаты, но еще ни о чем, подобном ее словам, не думал. Не нашел я даже, что возразить ей, она же, наклонив ко мне бледное свое лицо и положив мне на плечи легкие свои руки, тихо спросила меня:

– Разве ты его не любишь, Рупрехт? Разве можно его не любить? Ведь он – небесный, ведь он – единственный!

Я опять не мог найти ответа, но Рената тут же опустилась на колени и повлекла меня, чтобы и я стал рядом. Потом, обернувшись к открытому окну, к небу и звездам, стала она говорить голосом кротким, низким, но ясным, род литании, настаивая, чтобы на каждое прошение ее я отвечал, как церковный хор.

Рената говорила:

– Дай мне вновь увидеть его глаза, голубые, как самое небо, с ресницами острыми, как иглы!

Я должен был повторять:

– Дай увидеть!

Рената говорила:

– Дай мне услышать его голос, нежный, словно колокола маленького подводного храма!  
Я должен был повторять:

– Дай услышать!

Рената говорила:

– Дай мне целовать его руки белые, как из горного снега, и его уста неяркие, словно рубины под прозрачной фатой!

Я должен был повторять:

– Дай целовать!

Рената говорила:

– Дай мне прижать свою обнаженную грудь к его груди, чтобы чувствовать, как его сердце замрет и будет биться, быстро, быстро, быстро!

Я должен был повторять:

– Дай прижать!

Рената была неутюжима в изобретении все новых и новых прошений своей литании, изумляя затейливостью своих сравнений, как мейстерзингер на состязании певцов. У меня не было власти противиться чародейству ее призывов, и я покорно лепетал ответные слова, которые кололи, как шипы, мою гордость.

А потом Рената, прикинув ко мне, глядя мне в самые глаза, спрашивала меня, чтобы мучить себя своими вопросами:

– И теперь скажи, Рупрехт, ведь он всех прекрасней? Ведь он – ангел? Ведь я увижу его опять? Я буду его ласкать? И он меня? хоть один раз? Только один раз?

И я отвечал в безнадежности:

– Он ангел. Увидишь. Будешь ласкать.

В это время на небо взошла вчерашняя луна и навела столб своего света на Ренату, и под месячным лучом темнота нашей комнаты задвигалась. Голубоватый этот свет сразу воскресил в моей памяти прошлую ночь, и все то, что я узнал о Ренате, и все те обещания, какие раньше я давал сам себе. Ровным, мерным шагом, как строй хорошо обученного войска, прошли в моей голове такие мысли: «А что, если эта женщина еще раз насмехается над тобой? Вчера издевалась она, изображая козни Дьявола, а сегодня, прикидываясь безумной от печали. А через несколько дней, когда останешься ты дураком, она будет с другим шутить над тобой и вольничать, как утром».

Я от этих мыслей стал будто пьяный и, неожиданно схватив Ренату за плечи, сказал ей, улыбаясь:

– Не довольно ли предаваться тоске, прекрасная дама, не вернуться ли нам к времяпрепровождению веселому и приятному?

Рената испуганно отстранилась от меня, но я, ободряя себя мыслью, что иначе могу показаться смешным, привлек ее к себе и наклонился, намереваясь поцеловать.

Рената высвободилась из моих рук, с силой и ловкостью лесной кошки, и крикнула мне:

– Рупрехт! В тебя вселился демон!

Я же отвечал ей:

– Нет во мне никакого демона, но напрасно вы хотите играть мною, потому что я не такой простяк, как вы думаете!

Снова я охватил ее, и мы начали бороться, очень безобразно, причем я так сжимал ее пальцы, что они хрустели, а она била и царапала меня ожесточенно. Одно время я повалил ее на пол, не испытывая в тот миг к ней ничего, кроме ненависти, но она впилась вдруг зубами в мою руку и выскользнула изворотом ящерицы. Потом, ощутив, что я сильнее, она вся согнулась надвое, голова ее упала на колени, и с ней сделался тот же припадок слез, что накануне. Сидя на полу, – так как я смущенно ее выпустил, – Рената рыдала в отчаянии, причем волосы упали ей на лицо и плечи ее дрожали жалостно.

В этот миг один образ встал в моих воспоминаниях: картина флорентинского художника Сандро Филиппеппи, которую видел я в Риме, случайно, у одного вельможи. На полотне изображена каменная стена, из простых, крепко пригнанных друг к другу, глыб; сводчатый вход плотно заперт железными воротами; и перед входом, на выступе, сидит покинутая женщина, опустив голову на руки, в безутешности горя; лица ее не видно, но видны распушенные темные волосы; тут же поблизости разбросаны одежды, и кругом нет никого более.

Та картина произвела на меня впечатление сильнейшее, не знаю, потому ли, что живописец сумел в ней передать чувства с особой остротой, или потому, что я смотрел на нее в день, когда сам переживал большую скорбь, – но я ни разу не мог вспомнить об этом произведении без того, чтобы мое сердце не сжалось болезненно и горечь не подступила к горлу. И когда я увидел, как Рената сидит в том же самом положении, уронив голову, и рыдает с той же безутешностью, – оба образа, и явленный мне жизнью, и тот, который создал художник, налегли для меня один на другой, слились и ныне живут в моей душе неразрывно. Тогда же, едва только я представил себе Ренату опять одинокой, покинутой, пред неумолимо запертыми воротами, в мое сердце хлынула жалость неисчерпаемая, и, снова став на колени, я осторожно отвел руки Ренаты от ее лица и сказал ей, задыхаясь сам, но торжественно:

– Простите меня, благородная дама. Действительно, овладел мною демон и ослепил мои чувства. Клянусь вам спасением моей души, что ничто подобное не повторится более! Примите меня вновь как своего верного и покорного служителя или как своего старшего, но усердного брата.

Рената подняла голову и посмотрела на меня сначала как затравленный зверок на охотника, выпускающего его на волю, потом доверчиво и детски, потом охватила ласково мое лицо своими ладонями и ответила:

– Рупрехт, милый Рупрехт! Ты не должен на меня сердиться и требовать от меня того, чего я дать не могу. Я все отдала своему небесному другу, и для людей у меня не осталось больше ни поцелуев, ни страстных слов. Я – опустошенная корзина, из которой другой взял все цветы и плоды, но и пустую ты должен ее нести, потому что нас связала судьба и братство наше давно записано в книге Знающих.

Я еще раз поклялся ей, что никогда более не посягну против ее запрета, и лицо Ренаты стало тотчас радостным и ясным, и то было достаточной наградой мне за мое добровольное отречение. Встав затем с колен, я сказал, что прощаюсь, и хотел уйти в другую нашу комнату, чтобы Рената одна могла отдохнуть свободно. Но она остановила меня, сказав:

– Рупрехт, мне без тебя будет страшно: они опять нападут на меня и будут мучить всю ночь. Ты должен остаться со мной.

Не стыдись, как не стыдятся дети, Рената быстро сняла платье, скинула обувь и, почти обнаженная, легла в постель, под голубой балдахин, призывая меня к себе, и я не знал, как отказать ей. Эту вторую ночь нашего знакомства мы вновь провели под одним одеялом, но остались столь же далеки друг другу, как если бы нас разделяли железные брусья. Когда же случилось, что понятное волнение побеждало во мне мою волю и я, забыв свои клятвы, опять домогался нежности, Рената успокаивала меня словами печальными и такими бесстрастными и через то жестокими, что вся кровь во мне застывала, и в бессилии я падал ниц, как труп.

## Глава третья

### Как мы поселились в городе Кельне и как были обмануты таинственными стуками

#### I

Я всегда, когда только можно было, придерживался мудрой поговорки французов: «Lever à six, diner à dix, souper à six, coucher à dix, fait vivre l'homme dix fois dix»<sup>13</sup>. Поэтому на другой день я проснулся много раньше Ренаты, опять осторожно ускользнул из ее сонных объятий и прошел в другую комнату. Там, перед окном, в котором сверкало на утреннем солнце молодой и красивый Дюссельдорф, я обсудил свое положение. Уже чувствовал я, что покинуть Ренату нет у меня сил и что я или приворожен к ней магической силой, или естественно увлечен в тонкие сети матерью любви, Кипридой.

Мужественно взглянув на свое положение, как воин, попавший в опасность, я на этот раз так сказал себе: «Что ж, отдайся этому безумию, если уже ты не можешь преодолеть его, но будь осмотрителен, чтобы не погубить в этой бездне всей своей жизни, а может быть, и чести. Назначь себе заранее сроки и пределы и остерегись переступить их, когда душа будет в огне и ум не в состоянии будет говорить».

Я вынул из пояса зашитые в нем деньги и разделил свои сбережения на три равные части: одну часть я порешил истратить с Ренатою, другую хотел отдать отцу и третью оставил себе, чтобы, вернувшись в Новую Испанию, начать там самостоятельную жизнь. Вместе с тем определил я, что не останусь близ Ренаты больше трех месяцев, какой бы ни подул на нашу жизнь ветер, ибо после ночных происшествий не вполне доверял я ее словам о родственниках, которые ждут ее и в Кельне: и близкое будущее показало мне скоро, как был я в этом прав.

Так все обдумав, и разумно и трезво, я пошел к хозяину гостиницы и за сходную цену продал ему свою лошадь. Потом направился на речную пристань и сторговался с одной баркой, подымавшейся вверх по Рейну с нидерландскими товарами, чтобы она довезла нас до Кельна. Затем приобрел несколько нужных в путешествии с дамой вещей, как то: две подушки, мягкие одеяла, съестных припасов и вина – и наконец вернулся в гостиницу.

Рената, увидя меня, проявила настоящую радость, и мне показалось, что она уже думала, будто я тайно бежал, бросив ее. Мы завтракали вдвоем беспечно, опять не поминая о ночных мучениях, как если бы днем мы были совсем другими людьми. Тотчас после завтрака перешли мы на барку, так как была она совсем готова к отплытию. Барка была сравнительно большая, крутобокая, двухмачтовая, и нам была предоставлена на ней обширная каюта, устроенная в носовой части судна, высоко поднятой и кончавшейся острой крышей. Я устлал пол одеялами, и в таком помещении без утомления мог бы путешествовать посол Великого Могола.

От Дюссельдорфской пристани отчалили мы вскоре после полудня и ехали до самого Кельна без больших приключений, в течение двух дней и ночи, проводя часы темноты на якоре. За весь этот переезд, днем и ночью, Рената оставалась очень спокойной и рассудительной, и не было в ней ни обманчивой веселости, как в день, когда мы направлялись в Геердт, ни темного отчаянья, как в ночь, проведенную под вывеской «Im Lewen». Она часто со мной вместе прельщалась красотами мест, мимо которых мы проезжали, и вступала со мной в разговор о разных предметах общежития или искусств.

---

<sup>13</sup> Вставать в шесть, обедать в десять, ужинать в шесть, ложиться спать в десять, значит, прожить десять раз десять (фр.).

Одни из слов, сказанных мне тогда Ренатою, нахожу я нужным записать здесь, ибо объясняют они многие из ее позднейших поступков.

Было это, когда владелец барки, суровый моряк Мориц Крок, вмешался в нашу беседу и разговор упал на события, свершавшиеся как раз около того времени в Мюнстере. Мориц с первого взгляда не казался неистовым реформатором, был одет в обычную матросскую одежду, как я сам, продолжал свое торговое дело, – но с таким жаром заговорил он о новом лейденском пророке, которого называл «Иоанном Праведным, воссевшим на трон Давидов», что я усомнился, – не из перекрещенцев ли он сам. Рассказав нам о том, как в городе Мюнстере граждане истребили иконы, органы и всякое церковное имущество, а все свое соединили в одно, чтобы пользоваться сообща, как учредили двенадцать старейшин, по числу колен израилевых, и во главе поставили Иоанна Бейкельзона, и о том, как успешно отбиваются мюнстерцы, подкрепляемые воинством небесным, от епископских ландскнехтов, – Мориц продолжал, будто говоря проповедь:

– Долго мы, люди, голодали и жаждали, и сбывалось на нас пророчество Иереми: «Дети просили хлеба, и никто не дал им его». Мрак египетский обнимал своды храма, но ныне они оглашены победным гимном. Новый Геден нанят богом в поденщики по грошу в сутки и наточил серп свой, чтобы пожать зажелтевшие нивы. Выкованы пики на наковальне Немврода, и рухнет башня его. Восстал Илия в Иерусалиме Новом, и вышли пророки истинной апостольской церкви во все страны – проповедать Бога не немого, но живого и глаголющего!

Я возразил осторожно на заносчивую речь, что столь же опасно, если высокие мысли, найденные людьми учеными, становятся достоянием народа, как если бы детям для игры раздавать кинжалы. Что, может быть, не все в установлениях церкви, а также в монашестве, часто утопающем в богатствах, действительно соответствует духу учения Иисуса Христа, но что нельзя помочь в этом деле мятежом и насилием. Что, наконец, обновление жизни должно произойти не от опровержения догматов и не от разграбления князей, но путем просвещения умов.

Тут неожиданно и вступила в беседу Рената, хотя мне казалось, что она совсем не слушала слов Морица, занятая просто рассматриванием водных струй, – и сказала:

– Обо всем таком могут говорить только люди, которые никогда и не понимали, что значит верить. Кто хотя один раз лично испытал, с каким счастьем погружается душа в Бога, – не подумает никогда, что надо ковать пики или точить серпы. Все эти Давиды, идущие на Велиаров, Лютеры, Цвингли и Иоанны – слуги Дьявола и его помощники. Сколько говорим мы о преступлениях других, а что если бы обратили мы взор на себя, как в зеркало, и увидели бы свои грехи и свой позор? Ведь всем нам, каждому, надо было бы ужаснуться и, как оленю от охотника, бежать в монастырскую келью. Не церковь нам нужно реформировать, а душу свою, которая не способна больше молиться Всемогущему и верить в его слово, а все хочет рассуждать и доказывать. И если ты, Рупрехт, мыслишь, как этот человек, я не могу оставаться с тобой ни одной минуты более и предпочту броситься головой вперед в эту реку, нежели разделять каюту с еретиком.

Слова эти, показавшиеся в то время мне очень неожиданными, Рената произнесла со страстностью и, порывисто встав, быстро отошла от нас. А Мориц, не без подозрительности взглянув на меня, тоже пошел прочь и начал покрикивать на своих сподручников.

Больше к такому разговору мы не возвращались, а Мориц чуждался нас, и мы были на барке в полной обособленности, что мне было всего желаннее. После гневных слов Ренаты старался я выражать ей еще больше внимательности и уступчивости, чтобы явно показать, как дорого ценю ее расположение. Между прочим, всю ночь, которую Рената провела в каюте почти без сна, до самого рассвета, оставался я около нее и, по ее просьбе, тихо гладил ее по волосам, пока рука моя не онемела совсем. Рената, видимо, была признательна мне и обращалась со мной, как в те часы, так и наутро, с приветливостью исключительной. Эта наша дружеская

примиренность длилась до самого приезда в Кельн, когда оборвалась внезапно, как снасть под взрывом бури.

На склоне второго дня нашего путешествия выступили вдалеке вышки кельнских церквей, и с сердечным волнением узнавал я и называл Ренате и пик св. Мартина, и тупую крышу св. Гереона, и башенку братьев Миноритов, и громадную тяжесть Сенаторского дома, и, наконец, разорванного надвое гиганта, недовершенное величие Собора Трех Царей. Когда приблизились мы еще и я стал различать улицы, знакомые дома и старые деревья, внимание мое было возбуждено в высшей степени и готов был я плакать в умилении, на минуту позабыв о Ренате. Это обстоятельство, по всему судя, не укрылось от ее кошачьей наблюдательности, и тотчас она переменила свое ласковое отношение ко мне, стала сурова и непреклонна, словно на стуже отвердевший стебель.

Наша барка причалила у Нидерландской набережной, среди других судов, парусных и гребных, в час наибольшей суматохи на пристани. Попрощавшись с Морицем и выбравшись на берег, попали мы из нашего отчуждения на палубе словно в первый круг Ада Алигиери. Везде лежали разгруженные товары, бочонки и ящики; везде толпились люди, матросы, судорабочие, приказчики торговых домов, носильщики и просто любопытные; тут же подъезжали тележки для перевозки тяжестей; колеса скрипели, лошади храпели, собаки лаяли, люди шумели, кричали и ругались, а нас окружили и торговцы, и евреи, и носильщики, все предлагая свои услуги. Но только что выбрал я среди толпы одного малого и велел ему нести наши вещи, как, безо всякого предуготовления, Рената обратилась ко мне и совсем другим голосом сказала так:

– Теперь я хочу поблагодарить вас, господин рыцарь. Вы оказали мне большую услугу, проводив меня сюда. Поезжайте же далее своим путем, а я найду себе приют в этом городе. Прощайте, да хранит вас Бог.

Я подумал, что Рената говорит это из преувеличенной учтивости, и начал учтиво возражать ей, но она ответила уже решительно:

– Зачем вы вмешиваетесь в мою жизнь? Я вас благодарю за хлопоты и помощь, но более в них не нуждаюсь.

Потерявшись, ибо тогда я еще мало знал душу Ренаты, всю сотканную из противоречий и неожиданностей, как ткань из разноцветной пряжи, я напомнил клятвы, какими мы обменялись, но Рената в третий раз обратилась ко мне, с негодованием и не без грубости:

– Вы – не мой отец, и не брат, и не муж: вы не имеете никакого права удерживать меня близ себя. Если вы думаете, что, истратив несколько гульденов, вы купили мое тело, вы заблуждаетесь, так как я – не женщина из веселого дома. Я иду, куда хочу, и угрозами вы не принудите меня быть рядом с вами, когда мне ваше соседство неприятно.

В отчаянии стал я говорить многое, что уже не сумею сейчас повторить, сначала упрекая Ренату, потом униженно ее умоляя и хватая ее за руки, чтобы удержать, но она, с пренебрежением, а может быть, и с брезгливостью, отстранялась от меня, отвечая коротко, но упорно, что хочет остаться одна. К нашему спору стали прислушиваться лица посторонние, и, когда я с особой настойчивостью побуждал Ренату следовать за мною, она пригрозила, что будет искать защиты от моих посягательств у городских рейтаров или просто у добрых людей.

Тогда, решившись на лицемерие, я сказал так:

– Благородная дама! Рыцарский долг не позволяет мне оставить даму одну вечером, среди чужой для нее толпы. Улицы в сумерки небезопасны, ибо встречаются и грабители, и бесчинствующие гуляки. Пред стражей я не боюсь предстать, потому что не знаю за собой никакого преступления, но сейчас удалиться от вас прочь не соглашусь ни за что. Наконец, всем, что есть святого, я клянусь, что, если завтра утром вы того пожелаете, я предоставлю вам окончательную свободу, не буду надоедать своим присутствием и не помыслю следить, куда вы направитесь.

Поняв, должно быть, что я не уступлю, Рената покорилась мне с тем безразличием, с каким слушаются тяжелобольные, которым все равно, и, запахнув свой плащ, чтобы скрыть лицо, последовала за мной через городские ворота. Я приказал нести вещи к одной знакомой мне вдове, Марте Рутман, которая по смерти мужа тем промышляла, что отдавала комнаты приезжим. Жила она неподалеку от церкви св. Цецилии, в старом, невысоком двухэтажном домике, сама ютясь внизу, а второй этаж предоставляя за деньги. Идти к ней надо было через весь город, и за все время перехода Рената не обронила ни одного слова и не отогнула края своего капюшона.

К моему удивлению, Марта в загорелом моряке признала сразу безбородого студента, в былые годы бражничавшего у нее, обрадовалась мне, как родному, и принялась ублажать меня, приговаривая:

– Ах, господин Рупрехт! Чаяла ли я вас увидеть? Вот за все десять лет не забывала вас! Господин Герард сказывал, что вы бежали с ландскнехтами, и я думала, что только косточки ваши белеются где-нибудь в Италии, в поле. Да какой же вы стали статный, и суровый, и красивый, – ни дать ни взять святой Георгий на иконе! Пожалуйте наверх: у меня комнаты свободные и прибранные: мало дела теперь, – все норовят в гостиницы, да и дела падают, торговля идет на убыль, не как прежде бывало.

Я спокойным голосом велел приготовить все комнаты для меня с моей женой, говоря, что заплачу хорошим рейнским золотом, и Марта, почуяв в моем кошельке деньги, как охотничий пес дичь, сделалась вдвое почтительнее и восхищеннее. Пятясь перед нами, повела она нас во второй этаж, но Рената, пока хлопотала Марта, устраивая нам ночлег и расспрашивая меня с причитаниями, все изображала немую роль в комедии, даже не открывая лица, словно боясь, чтобы ее не узнали. Зато, как только мы остались одни, она тотчас сказала мне повелительно:

– Ты будешь спать, Рупрехт, в той комнате и не смей входить ко мне, пока я не позову.

Я посмотрел Ренате в лицо, не возразил ни звуком, но вышел с такой тяжестью в душе, как если бы приговорен был к клеймению каленым железом. Не то хотелось мне заплакать, не то избить эту женщину, имевшую надо мной странную власть. Я сжимал зубы и говорил себе: «Хорошо же, хорошо же: если ты только поддашься мне, я отплачу тебе альбом за каждый альб», – и в то же время казалось мне райским блаженством опять сидеть близ постели Ренаты и гладить ей волосы до изнеможения руки. Не смея нарушить запрета, мучился я в постели всю ночь, словно пьяный, для которого мир шатается, как палуба каравеллы, пока усталость не поборола моих горько-злых дум, но помню хорошо, что и во сне, до утра, душили меня тяжелые кошмары.

День, последовавший затем, первый день нашей совместной жизни в Кельне, ни на пядь не приблизил меня к намеченной мною мечте. Привычка к походной жизни подняла меня своим барабаном в обычный час, и я успел не только привести себя в порядок, но и досыта надуматься, раньше чем встала Рената, и это стало с того дня обыкновением нашей жизни. Выйдя, наконец, из своей комнаты, Рената отнеслась ко мне крайне сурово, хотя ничем не поминала о своем вчерашнем намерении со мною расстаться. Во время нашего завтрака она презрительными замечаниями прекращала все мои попытки затеять разговор, а едва завтрак был закончен, объявила мне решительно:

– Слушай, Рупрехт! Мы должны найти Генриха сегодня непременно. Я не хочу ждать более ни одного дня. Мы его должны разыскать, хотя бы нам пришлось истоптать весь город. Идем немедленно!

Следовало бы мне на эту повелительную речь возразить, что мало чем могу я быть полезен в розысках графа Генриха, не видев его никогда в лицо, но таков был взгляд Ренаты, что не нашлось у меня ни слов, ни голоса. В знак согласия наклонил я только голову, Рената же начала поспешно собираться на свои поиски. И когда, вновь опустив капюшон на голову, она твердо и быстро устремила на улицу, я задвигался за ней, как связанная с нею тень.

Ах, клянусь самим Господом искупителем, никогда в жизни не забуду я тех иступленных метаний, от церкви к церкви, через все площади и улицы, какие совершили мы в тот день! Не один, а несколько раз обежали мы весь город Кельн, от св. Куниберта до св. Северина и от св. Апостолов до берега Рейна, причем ясно выказалось, что Рената не в первый раз в этом городе. Прежде всего повлекла меня она к Собору, но, помедлив там недолго, бросилась в закоулки около ратуши и долго рыскала там, словно бы ее Генрих играл с нами в прятки: потом, пересекши рынок и площадь, мимо Гюрцениха, побежала она к древней Капитолийской Марии и там, присев на ступени, немало времени ждала, молча. Еще после, схватив меня за руку и вглядываясь алчными глазами во всех появившихся вдали на улице, потащила меня Рената к св. Георгу, где дожидалась снова, причем изумленно смотрели на нас каменщики, строившие новую, роскошную паперть. Потом видел нас со своим святым воинством св. Гереон, вздохнули о нас Одиннадцать тысяч непорочных дев, почивших со св. Урсулой, взглянуло на нас громадное око Миноритов, и, наконец, вернулись мы к набережной Рейна, под тень величественной башни св. Мартина, где Рената опять ждала с такой уверенностью, словно ей было предсказано здесь свидание голосом с Синаем, а я тускло всматривался в суетливую жизнь пристани, видел, как подплывают и отплывают суда, как нагружают и выгружают разноцветные барки, как люди хлопочут и суетятся, все куда-то торопятся и чем-то заняты, и думал о том, что нет им никакого дела до двух чужестранцев, притаившихся у церковной стены.

Было, судя по солнцу, далеко за полдень, когда я решился обратиться к Ренате с зовом:

– Не вернуться ли нам домой? Вы устали; нам приготовлен обед.

Но Рената взглянула на меня с презрением и ответила:

– Если ты голоден, Рупрехт, ступай, обедай; мне этого не надо.

Вскоре опять началось наше безудержное бегание из улицы в улицу, но с каждым часом оно становилось все беспорядочнее, ибо Рената сама теряла веру, хотя с упорством и с упрямством еще выполняла свое решение: осматривала проходивших, медлила на перекрестках, заглядывала в окна домов. Передо мной мелькали знакомые здания, – и наш университет, и бурсы, где, бывало, жили мои сотоварищи, Кнек-бурса, Лаврентьевская, у XVI домов, и другие церкви: пятиглавый Пантелеон, св. Клары, св. Андрея, св. Петра, – хотя и прежде Кельн был знаком мне хорошо, но с этого дня знаю я его так, как если бы и родился и всю свою жизнь провел только в этом городе. Скажу, что я, мужчина, привыкший к трудным переходам по степям, которому случалось по целым суткам гнаться за убегавшим неприятелем или, напротив, самому уходить от преследования, – я чувствовал себя обессилевшим и почти валился от усталости, но Рената казалась неутомимой и неизменной: ею владело какое-то безумие искания, и не было сил, чтобы остановить ее, и не было доводов, чтобы разубедить ее. Не помню уже, после каких концов и кругов очутились мы, к вечеру, снова близ Собора, и там, наконец, побежденная, Рената упала на камень, прислонилась к стене и осталась неподвижной.

Я сел где-то неподалеку, не смея говорить, в тупой усталости, наполнявшей мне все члены густым оловом. Так как над моим взором высилась серая громада передней части Собора, с временной крышей, с неначатыми башнями, но все же торжественная в своем смелом замысле, то, как это ни странно, но в эту минуту, забыв о своем положении и о Ренате, а также об усталости и голоде, стал я подробно думать о Соборе и его постройке. Теперь я помню очень хорошо, что тогда тщательно разбирал я в мыслях планы Собора, которые мне случилось видеть, и рассказы о его созидании, называл себе имена славного мастера Герарда и его преподобия архиепископа Генриха фон Вирнебурга. Тогда же пришло мне на мысль, что никогда этому зданию, как и братьям его, собору св. Петра в Риме и собору Рождества Пресвятой Богородицы в Милане, не суждено воздвигнуться в его настоящем величии: поднять на высоту те тяжести, какие нужны для его окончания, и вывести в совершенстве задуманные стрельчатые башни, это – задачи, далеко превышающие наши силы и средства. Если же когда-либо человеческая наука и строительное искусство достигнут такой меры совершенства, что все это станет возможным



и легким, люди, конечно, настолько утратят первоначальную веру, что не захотят трудиться, чтобы возвысить Божий дом.

Мое раздумие нарушила сама Рената, которая сказала мне коротко и просто:

– Рупрехт, пойдем домой.

Я поднялся с трудом и шел за Ренатою, как в оковах, но я ошибался тогда, думая не без облегчения, что на этот день все происшествия кончились; самое поразительное еще стерегло нас впереди.

## II

Когда мы добрались к себе, я приказал Марте приготовить нам есть, но Рената почти не хотела прикоснуться ни к чему и словно с большим трудом проглотила несколько вареных бобов и отпила не больше двух глотков вина. Потом, в полном бессилии, перебралась на постель и простерлась на ней как параличная, слабо отстраняя мои прикосновения и только шевеля отрицательно головой на все мои слова. Я же, приблизившись, опустился близ кровати на колени и смотрел, молча, в ее глаза, вдруг остановившиеся и утратившие смысл и выражение, – и так оставался долго, в этом положении, ставшем с тех пор на многие недели обычным для меня.

Когда так были мы погружены во мрак и безмолвие, словно в какую черную глубину, – вдруг раздался над нами в стену странный и совершенно единственный трещащий стук. Я удивленно повел глазами, ибо, кроме нас двоих, в комнате никого не было, и сначала не сказал ничего. Но, спустя некоторый промежуток времени, когда тот же стук повторился вторично, я спросил у Ренаты тихо:

– Слышите ли вы стук? Что это может быть?

Рената ответила мне каким-то безразличным голосом:

– Это ничего. Это часто бывает. Это – маленькие.

Я переспросил ее:

– Какие маленькие?

Она ответила мне спокойно:

– Маленькие демоны.

Таким ответом был я заинтересован настолько, что хотя и смущало меня тревожить обесилевшую Ренату, однако отважился я ее расспрашивать, видя, что она знает нечто такое, о чем я имею понятие лишь очень смутное. С большой неохотой, медленно и с затруднением выговаривая слова, передала мне Рената, что демоны низшие, всегда вращаясь в кругу людей, иногда дают о себе знать тем, кто святой молитвою или заступничеством небесных ходатаев не охранен от их влияния, стуками в стены и в разные предметы или же передвигая разные вещи. При этом Рената прибавила, что когда были у нее глаза открыты на мир тайный, при близости ее с Мадизлем, она даже видела сама этих духов, всегда имеющих вид, как люди, и одетых, в противоположность ангелам, в плащи не светлого и не яркого, а темного, серого или дымно-черного цвета, причем, однако, они окружены как бы некоторым сиянием и, передвигаясь, скорее беззвучно плывут, чем идут, а исчезая, тают, как облако.

Не должен я скрыть и скажу теперь же, что позднее Рената дала мне другое объяснение таких стуков, которое многим покажется, быть может, более простым и естественным, но по всему я сужу, что истинным было это, первое, и что, если ошибалась она, то лишь в том, что не усматривала в них обычных хитростей Дьявола, ищущего запутать душу в своих сомнительных тенетах. Тогда же не было у меня времени даже обсуждать сказанное, так как весь отдался я чувству изумления, как близок от нас мир демонов, который для многих кажется лежащим как бы по ту сторону какого-то недоступного океана, переплываемого лишь в ладьях магии и гадания. К тому же во время речи Ренаты над ее постелью в стене раздавались веселые постукива-

ния, словно подтверждавшие ее показания. Но так как никогда и ни в каких обстоятельствах моей жизни не угасал во мне пламенный свободный исследования, возженный в моей душе книгами великих гуманистов, то, обращаясь к стучащему существу, спросил я его с крайней смелостью:

– Если ты, производящий стуки, действительно демон и если ты слышишь мои слова, постучи три раза.

Тотчас отчетливо раздалось три удара, и в тот миг это было так страшно, как если бы незримый молоток ударял меня сквозь череп по мозгу. Но, быстро преодолев это малодушие, я с новой отвагой, не сознавая той темной бездны, к которой толкал сам себя, спросил снова:

– Ты друг нам или враг? Если друг – постучи три раза.

Тотчас раздалось три удара. После этого и Рената приподнялась в постели, глаза ее стали живыми, и она спросила:

– Именем Бога заклинаю тебя, стучащий, скажи: знаешь ли ты что о господине моем, графе Генрихе? Если знаешь, ударь три раза.

Раздалось три удара.

Тогда неодолимая дрожь охватила Ренату, и, сидя, схватив руку мою и сдавив ее тонкими пальцами, быстро стала она задавать незримому нашему собеседнику один вопрос за другим: где граф Генрих? Вернется ли он? Увидит ли она его? Сердится ли он на нее? – восклицания, на которые было очень затруднительно ответить стуками. Но, вмешавшись, я постарался внести порядок в беседу и установил, чтобы всегда три удара значили утверждение, а два удара – отрицание, после чего оставалось нам только так задавать свои вопросы, чтобы можно было разрешить их простым «да» или «нет», и между нами и нашим невидимым гостем произошел длинный разговор.

Мы спросили его: кто он, демон ли? И он отвечал нам, что да. Потом мы спросили, как его зовут, и, перебрав ряд имен и все звуки алфавита, узнали, что его имя Элимер. Потом мы спросили его, знает ли он графа Генриха, и он ответил нам, что да. Мы спросили, в Кельне ли граф Генрих, и он ответил нам, что нет. Мы спросили, придет ли граф Генрих в Кельн, и он ответил нам, что да. Мы спросили: когда? Скоро ли? Не сегодня ли? Не завтра ли? И узнали, что завтра. Потом, продолжая наши расспросы, мы узнали, что должны ждать графа Генриха завтра вечером, не выходя никуда, в этой самой комнате, что он сам найдет путь к Ренате, что он не забыл ее, не гневается на нее, все простил, любит ее, как прежде, хочет быть с ней.

Все эти ответы были для Ренаты, как слова Спасителя «талифа куми» для мертвой отроковицы. Она тоже ожила и, забыв об усталости, неустанно задавала вопрос за вопросом, почти все об одном и том же, только немного изменяя слова, чтобы слышать еще раз сладкое для себя «да». И когда в утвердительном стуке было для нее особенно много надежды, она с легким стоном, словно в упоении, откидывалась на подушку, на минуту замирала, как после исступленного восторга, и тихо говорила мне: «Ты слышал, Рупрехт, ты слышал?»

Так продолжалось много больше часа, пока стуки, сначала став более слабыми, словно стучал некто утомившийся, не смолкли вовсе. Но и после прекращения их долго Рената не могла успокоиться и, радостная, повторяла, сама себе и мне, свои вопросы и ответы демона, или заставляла их повторять меня, уверяя: «Ведь я знала, что здесь увижу Генриха! Ведь это я чувствовала и говорила! Потому что я пришла к пределу страдания и так томиться больше мое сердце не могло бы!» При этом Рената снисходительно гладила мои волосы и лицо, давала мне целовать свою руку, прижимала ко мне, словно приучая себя к будущим ласкам своего возлюбленного, а мне не было другого выхода из моей безнадежности, как слушать ее голос и касаться губами ее пальцев. И это мучительство ее ликования продолжалось далеко за полночь, несмотря на всю нашу усталость, причем я, слушая, как по-детски радовалась Рената, все оставался на коленях у ее постели, так что, когда наконец сказала она мне идти спать, я едва мог стоять на затекших ногах.

Очень понятно, что вторая моя ночь в одинокой моей комнате была ничем не лучше первой, и опять было много причин, чтобы приступом на мою душу шли мысли черные, закованные в железо, с опущенным забралом и взятым наперевес копьём. Вволю предавался я раздумьям и о страшной связи, существующей между жизнью человека и жизнью демонов, и о новом пути, на который неожиданно свернули события последних дней. Вместе с тем не мог я не опасаться, с крайней тоской, что предвешание стучащего демона исполнится, что граф Генрих на другой день действительно явится к Ренате и что мне тогда уже не будет места близ нее. Эта последняя мысль сгущала всю кровь в моих жилах, и я обмирал пред ней, как под взором василиска.

И вот какую попытку сделал я на следующее утро, сказав себе, что при поражении разбитый должен надеяться только на свою крайнюю покорность и на милость победителя. Когда Рената позвала меня к себе, я произнес следующую речь, обдуманную тщательно и подготовленную вполне:

– Благородная дама! Я хочу высказать открыто то, что, конечно, вы угадали в моем молчании. Не простая услужливость и не рыцарский долг удерживают меня долее близ вас, но нечто гораздо большее, чувство, которого нечего стыдиться ни мужчинам, ни женщинам. Я вам давал клятву быть верным служителем и усердным братом, но я для вас еще всегда останусь благоговейным поклонником. Узнав вас, я понял в совершенстве, что никогда не пожелаю я быть близ другой женщины и нисколько не удерживает меня все то, что вы мне открыли о вашей любви. Ибо я не надеюсь ни на что дерзкое, но более не могу быть без вас и хочу иногда целовать ваши рукава или следить за вашей походкой. Что бы ни случилось, даже если суждено вам стать счастливой, возьмите меня на службу к себе, позвольте быть вашим телохранителем и защищать этой рукой от опасности вас и вашего избранника.

Не скажу, чтобы все до конца в этой речи, немного преувеличенной, было искренно и что я действительно желал бы исполнить сказанное мною, но все же по такому именно склону катились мои думы, хотя и не достигая до дна, – а если бы Рената потребовала осуществления моих обещаний, я, может быть, и исполнил бы воистину все то, что предлагал лишь как на театре. Но Рената, выслушав меня нахмуренно, ответила мне так:

– Ни о чем подобном не смей думать, Рупрехт. Ты – последняя тень этой поры моей жизни, слишком наполненной тенями. Я возвращаюсь в свет, и ты должен исчезнуть, как весь ночной мрак при появлении солнца. Неужели ты думаешь, что когда со мной будет Генрих, я смогу смотреть на тебя и знать, что ты целовал мои руки и лежал в одной постели со мной? Нет, как только Генрих переступит порог, ты должен будешь выйти в другую дверь, уехать из этого города, уйти в свою неизвестность так, чтобы я не узнала о тебе более ничего и никогда! В этом ты мне должен поклясться крестными муками нашего Спасителя, и если своей клятве ты изменишь, да будет тебе суд строже, чем Иуде!

Тогда я спросил Ренату:

– А что, если утром, выйдя из дома, вы увидите на пороге мой труп и мой собственный кинжал в моей груди? Что вы скажете обо мне вашему Генриху?

Рената ответила:

– Я скажу, что это, вероятно, какой-то пьяный прохожий, и буду рада, когда рейтары уберут тело.

После этого я дал все клятвы, какие она требовала, и уже во всем повиновался Ренате без спора, хотя сам не знал и не желал о том думать, как поступлю вечером. Рената же была, напротив, рассудительна и хлопотлива, как я не ожидал от нее. Она послала меня купить ей платье, так как, кроме того, пышного, которое она носила постоянно, и синего дорожного плаща, у нее не было другой одежды, а также и разных мелких вещей, как для путешествия, так и для украшения лица, видимо, желая воспользоваться всеми средствами, чтобы быть наиболее привлекательной для графа Генриха и наименее ему в тягость. Она обнаруживала великую забот-

ливость и внимание ко всяким мелочам и заставляла меня много раз, несмотря на дождь, не стихавший весь день, возвращаться на рынок и переходить от одного купца к другому.

В таких заботах прошло время до вечера, и не было ничего опущенного к тому часу, когда рано наступившие, вследствие туч, сумерки стали наполнять комнату густой темнотой. Не знаю, были ли похожи мои ощущения на чувства человека, перенесшего в тюрьме пытку и ожидающего определенного часа, когда поведут его на казнь, но мысленно я сравнивал свое положение именно с таким. Я плыл по минутам вниз, как по быстрому потоку лодка, которой не управляет никто.

Едва мрак сгустился ощутительно, как снова слышались постукивания в стену, и Рената с поспешностью спросила, – это ли наш вчерашний знакомец Элимер. Был дан ответ, что это точно он. Тогда началось как бы повторение вчерашнего вечера, с той только особенностью, что скоро к одному стучащему демону присоединились другие, которые тоже указали нам свои имена: Риций, Ульрих, еще не упомяну. У каждого из них были свои особенности стуков: так, Элимер стучал определенно и четко, Риций чуть слышно, Ульрих такими ударами, что можно было бояться, не разрушится ли стена. Демоны охотно отвечали на все вопросы, сколько то можно было, стуками, и нисколько не смущали их имена святых и самого Господа Бога, произносимые Ренатою. При этом порою вспыхивали в разных частях комнаты, у пола, огни, как над болотом, и, поднявшись на высоту двух локтей, гасли, расплываясь. Но уже душа моя сама увлекалась ко всему тому, что, по выражению Горация Флакка, *scire nefas*<sup>14</sup>, и даже явные стигматы ада не ужасали меня более и не смущали моей воли.

Ныне я должен сожалеть, что, отважившись на такое сомнительное дело, как сношение со стучащими демонами, не воспользовался я беседой, чтобы узнать что-либо большее о их природе и силе. Но был я в тот вечер, вместе с Ренатою, захвачен ожидаемым приходом Генриха, и не нашлось во мне столько любознательности, чтобы вести длинный допрос. Я успел только узнать, что в их мире есть реки, и озера, и деревья, и нивы; что живут в нем частью дьяволы, сотворенные прежде Богом благими, после же отпавшие с Люцифером, а частью – души умерших людей, не достойные ада, но не получившие надежды чистилища и осужденные томиться на земле до второго пришествия; что они всегда рады говорить с людьми, которых видят, как огонек во тьме, но не ко всем могут приступить, а лишь к тем, кто на это способен и кто не закрыт щитом служения Богу.

Вот то малое, о чем догадался я спросить. Зато Рената всем из говоривших задавала бесконечное число вопросов, впрочем, опять сводя все их к одному: «Правда ли, что Генрих сегодня придет к ней», – и все отвечающие говорили ей только одно «да». Потом Элимер сказал нам, что ждать Генриха надо в темноте, которая и была вокруг нас; что войдет он ровно в полночь; что сейчас он уже в городе и переодевается. При этом последнем ответе Рената непременно захотела узнать все особенности его новой одежды и без устали поминала все те уборы, какие носил ее Генрих, и также называла все части и принадлежности мужского одеяния и все цвета материй, чтобы мог Элимер простым «да» обрисовать весь образ Генриха. Мы узнали, что на нем зеленый костюм охотника, какой носят в Баварии, с коричневыми застежками, зеленый же капюшон, светлый пояс, унизанный камнями, и синие сапоги.

Потом Элимер сказал, что Генрих вышел из своего дома и идет к нам, что вот он проходит по одной улице, вот по другой, вот подходит к двери нашего дома. Мое сердце билось так сильно, что я слышал его глухие удары, и в последний раз я спросил демона:

– Если граф входит в дверь, постучи три раза.

Раздалось три удара. Я повторил:

– Если граф всходит по лестнице, постучи три раза.

Раздалось три удара. Хриплым голосом Рената сказала мне:

<sup>14</sup> Знать грешно (лат.).

– Рупрехт, уходи и не возвращайся!

Лицо ее показалось мне страшным, и, шатаясь как раненый, я пошел к выходу на галерею, откуда можно было спуститься на двор дома, но, приметив, что Рената не смотрит на меня, вся упоенная ожиданием, я замедлил у двери, ибо неодолимое любопытство побуждало меня хоть раз взглянуть в лицо этого, тогда таинственного для меня, графа. Но проходили минуты, и граф не появлялся, и никаких шагов не было слышно за стеной, и все кругом было тихо и неизменно. Прошло много минут, и осторожно я опять подошел к Ренате, стоявшей у стола.

Задыхаясь, Рената спросила:

– Элимер! Если Генрих близко, ударь три раза!

Ответа не было, и она спросила снова:

– Элимер! Если ты здесь, ударь три раза!

Ответа не было, и с крайним отчаяньем Рената воскликнула третий раз:

– Риций! Ульрих! Отвечайте: придет ли мой Генрих?

Ответа не было.

Вдруг все силы покинули Ренату, и она упала бы на пол, как сраженная пулей, если бы я не подхватил ее. И не знаю, вошел ли в нее тот демон, с которым мы только что дружески беседовали, или давний ее враг, но только вновь был я свидетелем того ужасного мучения, как в деревенской гостинице. Только казалось мне, что на этот раз дух находился не во всем теле Ренаты, но одержал лишь часть его, ибо она могла несколько обороняться, хотя все же тело ее извивалось ужасно, вывертывая члены так, словно кости должны были прорвать мускулы и кожу. Опять не было у меня средств помочь подвергнутой пытке, и я только смотрел на лицо Ренаты, совершенно искаженное, словно бы выглядывал из ее глаз некто другой, и на все чудовищные изгибы ее тела, пока наконец добровольно не отпустил ее демон и не осталась она у меня в руках изнеможенной, как слабая веточка, искрученная в водовороте. Я перенес Ренату в ее комнату, на постель, где она рыдала долго и бессильно, на этот раз в полной немоте, в невозможности вымолвить ни одного слова.

Этим кончился второй день нашего пребывания в Кельне и пятый день моей близости с Ренатой. Эти пять дней, несмотря на множество разнообразных событий, вмещенных в них, остались отчеканенными в моей душе с такой ясностью, что я помню малейшие происшествия, почти все слова, как будто все это происходило лишь вчера. И если бы я не считал нужным быть кратким, ибо описание более поразительных явлений еще стоит предо мною, мог бы я пересказать пережитое мною за это короткое время с гораздо большими подробностями, нежели сделал это здесь.

## Глава четвертая

### Как мы жили в Кельне, что потребовала от меня Рената и что я видел на шабаше

#### I

Вероятно, не одни только страдания, каким подверг Ренату пытавший ее демон, но также и отчаянье, каким сменились ее обольстительные надежды, сделали то, что она обессилела, словно перенесла долгую и сложную болезнь. Утром, после той ночи, когда тщетно ждали мы графа Генриха, Рената была решительно не в силах подняться с кровати, не могла пошевелить левой рукой и жаловалась, что в голову ее словно заколочен острый гвоздь, – так что пришлось ей несколько дней провести в постели. Мне было большим счастьем ухаживать за больной, как слугителю в госпитале, кормить и поить ее, как слабого ребенка, оберегать ее усталый сон и искать для нее, в своих скудных познаниях по медицине, облегчающих боли средств. Хотя Рената принимала мои услуги с обычной для нее королевской небрежностью, однако и по выражению ее глаз, и по отдельным словам вправе я был заключать, что она ценит мою преданность и мои заботы, чем был я награжден с избытком за все недавние муки. И после первых пяти дней с Ренатою, напоминавших неутраченный водоворот между скал, настали для меня дни тихие, грустные, но сладостные, так все похожие друг на друга, что можно было их принять за один день, только отраженный в нескольких зеркалах.

Возвращаясь теперь мысленно к тому времени, чувствую я, как птичьи когти тоски сжимают мне сердце, и готов я, с ропотом на Творца, признать воспоминание самым жестоким из его даров. Но все же не могу воздержаться, чтобы не описать, хотя бы кратко, и те комнаты, в которых свершилась вся наша трагическая судьба, и тот склад нашей жизни, который, при всех переменах, сохранялся до рокового часа первой разлуки.

Так как Рената не заговаривала со мною ни о родственниках, которые будто бы были у нее в Кельне, ни о своем желании покинуть меня, то озабочился я устроить ей возможно более привлекательное жилище. Я выбрал для нее ту комнату, из трех, бывших во втором этаже, которую предназначала Марта для самых знатных из своих постояльцев, почему и обставила ее с некоторой пышностью. У правой от входа стены, на небольшом возвышении, к которому должно было подниматься по трем ступенькам, стояла там прекрасная деревянная кровать, с деревянным же, убраным материей, полубалдахинном, подушками, обшитыми кружевами, и атласным одеялом. Другим значительным сооружением был здесь камин из цветных изразцов, редкой работы, какую не всегда повстречаешь и в Милане, а у внешней стены был поставлен большой шкаф для платья, резной, с инкрустациями. Между окнами помещался красивый стол с изогнутыми ножками, в углу за кроватью – складной алтарь, и убранство комнаты довершали стулья, аналой для чтения и большое итальянское зеркало, повешенное слева от входа. Эту обстановку помню я с отчетливостью крайней, – и сейчас, когда пишу эти слова, мне все кажется, что надо лишь встать, отворить дверь, – и я опять войду в комнату Ренаты и увижу ее, поникшую лицом на точеную доску аналая или прижавшуюся щекой к холодным, стеклянным кружочкам окна.

Комнату Ренаты от моей отделял узкий коридор, выходивший на крытую галерею, которая окружала половину дома, и с которой по лестнице можно было сойти прямо вниз, не проходя через нижний этаж. Моя комната, отводившаяся Мартой для приезжих менее богатых, была обставлена просто, но все же лучше и приветливее, нежели комнаты в торговых гостиницах. Затем была в нашем распоряжении еще третья, меньшая, комната, совсем отдельная, ход

в которую был прямо с площадки внутренней лестницы; этой каморкой мы сначала не думали пользоваться, и я оплачивал ее цену лишь затем, чтобы избежать всякого соседства. Действительно, в уединенном домике, где, кроме нас, жила только Марта, женщина, правда, любившая поболтать, но гостей зазывавшая к себе неохотно, – были мы, даже в шумном и веселом Кельне, обособлены от людей не менее, чем Мерлин в волшебном лесу Вивианы.

Старая Марта была уверена, что я услаждаюсь с молодой женою, и, разумеется, не подозревала вовсе, как странно проходили наши дни. Получая от меня щедрую плату, охотно и заботливо прислуживала она нам, исполняя все мои поручения и заботясь о нашем столе: утром, на завтрак, получали мы обычно яичницу, колбасу, сыр, яйца, печеные каштаны, свежие булки, а вечером, к обеду, – баранину, поросят, гусей, карпов, щук; у меня же при этом всегда была бутылка рейнского или мальвазии. Удивляло Марту, что не хотел я ни с кем возобновить знакомства, и неоднократно уговаривала она меня пойти к престарелому Отфриду Герарду, бывшему моему воспитателю, но я, напротив, строго запрещал рассказывать кому бы то ни было о моем прибытии в Кельн. Впрочем, Марта, кажется, не твердо выполняла мой приказ, потому что порой пытались приветствовать меня на улице люди, в которых признавал я не только прежних собутыльников, но даже магистров университета, – однако всегда давал понять, что поклонившийся ошибся и принял меня за другого.

За время болезни Ренаты и в первые дни ее выздоровления проводили мы с ней целые часы в беседах, и теперь она с охотой слушала мои рассказы о Новой Испании, дивясь, как много пришлось мне видеть в жизни. Иногда ласково касалась она моего лица пальцами, приговаривая, словно обращаясь к малому ребенку: «Какой ты у меня умный и ученый, Рупрехт!» Но долгое время ни одним словом не намекали мы ни на графа Генриха, ни на силу враждебных демонов, грозивших Ренате, и когда, – что случалось несколько раз, – приходилось нам вечером, в темноте, услышать опять знакомые постукивания в стену, спешили мы вздуть огонь и заговорить о другом, причем стуки смолкали сами собой. Бывало, впрочем, что явное присутствие незримых врагов смущало жутким опасением не только меня, но и Ренату, и тогда она не отсылала меня в мою комнату, но позволяла провести ночь вместе с ней, – иногда у подножья ее кровати, иногда опять под одним одеялом, хотя все же, как мужчина и женщина, мы оставались чуждыми друг другу. И я даже находил в этой мучительной близости особую сладость и прелесть, как если бы кто наслаждался глубокими порезами острого лезвия, нечувствительно разделяющего тело.

К самому концу августа Рената поправилась настолько, что мы стали совершать прогулки по городу, большею частью шли на берег Рейна, куда-нибудь вверх по течению, за Ганзейскую пристань, и там, сидя на земле, смотрели на всесильные, темные воды великой реки, неизменные со времен перешедшего их Кесаря, но сменяющиеся каждую минуту. Этот однообразный вид, день за днем, приводил все новые мысли в наши головы и новые слова нам на уста, и наша беседа была столь же неисчерпаема, как сам Рейн, хотя возможно и то, что нам только казалось, будто мы беседуем без перерыва. Во всяком случае, я чувствовал явно, что весь тот хаос всяких знаний и сведений, которые вычитал я из разных книг, или собрал в переменах жизни, – теперь, встречаясь то с ясной внимательностью Ренаты, то с ее строгими осуждениями, то с ее проницательными поправками, сплавлялся постепенно в одну громадную, но нераздельную массу, словно бы из расплавленного чугуна выливался стройный колокол, который может звучать гулко и далеко.

Однако, при всей кротости и покорности Ренаты, в ней жила неудовлетворимая тоска, не выпускавшая из своих ядовитых зубов ее сердца, так что, по мере того как крепили силы Ренаты, возрождалось в ней и упорство ее желания, устремленного, как стрелка компаса, все к одной точке. У меня не было иного занятия, как следить за ясностью или облачностью на небосклоне души Ренаты, и скоро подметил я, что зловещие признаки предвещают новый шторм, так как уже не был неопытным плователем под теми широтами. Тем не менее, хотя и был я

предупрежден, гроза налетела опять так стремительно, что я не успел взять рифов у парусов, и галеас моей жизни опять закрутился, как детский волчок.

Еще вечером, засыпая после долгой беседы, в течение которой касались мы всего, от судеб нашей империи до лирических стихотворений испанского поэта Гарчилясо де ла Вега, говорила мне Рената нежно: «Милый Рупрехт, наконец я немного отдохнула. Я словно уже умерла и живу второй, сверхдолжной жизнью. Во мне нет крови, и не может быть для меня человеческого счастья; но в этом мире еще есть твоя внимательность и ласка». Убаюкиваемый такими словами, уснул я на деревянных досках помоста, подле кровати Ренаты, слаще, чем иные на пуховых ложах, и, ощущая сквозь сон близость атласного одеяла, говорил себе радостно: «Здесь она!»

Но утром, проснувшись вдруг, как от толчка, увидел я над собой угрюмо-тоскливые глаза Ренаты, сидевшей на постели, и ее искривленный рот и, как-то сразу поняв перемену, происшедшую в ней, воскликнул с отчаяньем:

– Рената, что с тобой?

Так я обратился к ней потому, что она сама просила меня называть ее по имени и говорить ей «ты», как друзья между собою, но она отвечала мне:

– Что же со мною может быть? Ровно ничего, – то же, что и вчера!

Я возразил:

– Но отчего у тебя такое печальное лицо?

Рената сказала с той грубостью, какая всегда проявлялась у нее во время припадков тоски:

– А ты воображаешь, что я вечно могу смеяться? Я не из тех людей, которые готовы плясать безо всякого повода! Да и к чему это мне радоваться? Что такого веселого в моей жизни?

Я вышел из комнаты Ренаты и долго стоял у двери на галерею, смотря на рыжие черепицы соседних кровель, и только после значительного промежутка времени отважился вернуться к Ренате и увидел, что она сидит на подоконнике, но лицо ее мертвенно и безучастно. Сначала я предложил ей завтракать, но она, без слов, покачала головой отрицательно; когда же я позвал ее идти на берег, она мне сказала сурово:

– На что тебе я? Никто тебя не удерживает, – ступай себе, если тебе забавно бродить по грязным улицам, среди вонючей толпы, и хочется убедиться, на своем ли месте Рейн!

Считая с этого разговора, Рената на много дней впала в черное уныние, которое нельзя было рассеять никакими доводами и никакими заботами. Когда я пытался убедить ее, что неразумно и губительно предаваться такому отчаянью, она или молчала в ответ, или резко выставляла мне на вид все несовершенство и безобразие мира, обреченного греху и страданию, сравнительно с божественной красотой обетованного Эдема, и указывала, что христианину радоваться нечему и пристойно только плакать. У нее был неистощимый выбор доводов против радостей жизни, и ни один магистр не сумел бы с такой ловкостью вести диспут, с какой она доказывала мне, что есть тысячи причин отчаиваться, – так что я наконец не находил, что возразить, что ответить.

Любимым препровождением времени стало тогда для Ренаты посещение церквей, куда она уходила, запрещая мне следовать за ней. Но я, конечно, нарушал ее волю и, укрываясь за колоннами, следил, в церкви св. Цецилии, или св. Петра, или еще иной, как оставалась Рената сведенной в молитве по целым часам, устремив взоры к алтарю, выслушивая всю святую мессу без единого движения. Несмотря на то, что вера наших дней и поколеблена сильно реформой и ересями, однако храмы большею частью бывали полны, как скорбными душами, ищущими прибежища у всемогущего, так и праздными посетителями, пришедшими то по привычке, то, чтобы повидать кумушку, то, чтобы подмигнуть красивой соседке. Весь этот разнообразный сброд скоро выделил нас, как странную пару, и мне случалось слышать, как шепотом переда-



вали о нас разные вздорные слухи. Но Рената, конечно, не замечала любопытства, ею возбуждаемого, а я на него не обращал внимания, ибо мне доставляло неизъяснимое наслаждение только смотреть на Ренату и вбирать глазами ее темный облик среди пестрых церковных украшений и позолоты арок, которыми отличаются кельнские церкви, – подобно тому как вбирает пьяница губами виноградный сок. Здесь-то, когда я слушал мерное пение органа и воображал порой, что то шумят кругом мексиканские леса, впервые зародилась во мне мысль увезти Ренату за океан, и я до сих пор думаю, что, если бы мне удалось исполнить это решение, я мог бы спасти и ее жизнь, и ее душу.

По вечерам, которые мы проводили вдвоем, нам довелось теперь перемениться ролями, как взаимно меняются местами бьющиеся на шпагах, ибо слушателем стал я, а мне Рената без устали говорила о себе, теща и муча себя воспоминаниями. Слишком помню я, как в ее комнате мы двое, при свете двух восковых свеч и при завешанных окнах, сидя друг против друга, за стаканами мальвазии, – ибо Рената, отказываясь от пищи, пила вино охотно, – проводили чуть не напролет ночи. Снова Рената решила говорить со мною о графе Генрихе, рассказывая мне все новые и новые подробности об нем, описывая его глаза, и брови, и волосы, и тело, повторяя его слова, какие ей запомнились, передавая мелкие события из их жизни, изображая мне их взаимные ласки с такими подробностями, которые распалили мою ревность в жгучее пламя. Часто начинала Рената сравнивать меня со своим возлюбленным, и ей доставляло великое услаждение выставлять мне на вид всю изменчивость моей души, всю обыкновенность моего лица рядом с ангельским ликом Мадиеля и божественностью его мыслей. Нередко иступленность слов разрешалась у Ренаты опять неудержными слезами, которые заливали ее щеки и смешивались с вином в ее бокале, и мы оба пили эту смесь мальвазии и слез, пока наконец я не уносил обессиленную Ренату на постель и, тоже плача, целовал ее ноги и платье.

Такая наша жизнь также продолжалась около недели, и я полагаю, что дальше мое сердце не вынесло бы напряженности постоянной боли. Но иступленность чувств у Ренаты оборвалась столь же внезапно, как внезапно возникла, и после того как в воскресенье едва ли не весь день провела она на коленях в церкви св. Апостолов, а вечером с особой жестокостью осыпала меня попреками, – утром в понедельник перешла она к ласковости, хотя, по всем видимостям, притворной, и, вместо того чтобы идти на мессу, позвала меня, как в другие дни, на Рейн. Я пошел не с легкой душой, и действительно, те наши часы были только изображением прежней дружественности и только подделкой под недавнюю близость. Рената, хотя она – как я часто убеждался – много раз говорила такое, чего нельзя назвать правдой, совсем не умела лгать, задумав ложь, и притворство ее было столь явное, что пробуждало в душе не негодование, а сожаление. Я не подавал виду, что замечаю театральную игру, и ждал, к чему приведет такая завязка, пока дома Рената, после разных незначительных слов, не сказала мне:

– Ответь, Рупрехт, любишь ли ты меня больше спасения своей души?

Я заверил ее клятвой, что люблю, интересуясь, к чему клонится этот вопрос. Но Рената, потребовав несколько раз, чтобы я подтвердил свои слова, не хотела говорить об этом подробнее и только продолжала выказывать мне преувеличенную нежность.

Утром, во вторник (сейчас будет видно, почему я точно помню, в какой это было день), неожиданно спросила у меня Рената, чтобы я дал ей денег, и я поспешил предложить ей золотые монеты. Но она взяла только несколько серебряных иоакимсталеров и, накинув плащ, вышла, особенно строго запретив мне следовать за ней. Хотя я снова не исполнил ее требования, но ей на этот раз удалось обмануть мою бдительность инквизиторского шпиона и затеряться где-то среди узких переходов, близ рынка. Мне пришлось со все возрастающим беспокойством ждать ее одному, причем приходили мне в голову даже страшные мысли, что она меня покинула, и, только когда уже вечерело, она появилась, очень усталая и очень бледная, принесла с собой небольшой мешочек с какими-то вещами. И даже вся радость, совершенно

детская, охватившая меня при виде вернувшейся Ренаты, не могла заглушить в моей душе лукавого голоса любопытства.

Против обыкновения, Рената спросила есть, потом хотела пить вино, а еще после придумывала другие отсрочки, откладывая задуманный ею разговор, и только уже при наступающей темноте, всегда придающей отваги, не без торжественности начала говорить. Приблизительно она мне сказала так:

– Милый Рупрехт! Ты хорошо видишь, что так я жить больше не могу. Вся моя душа изойдет слезами: или меня придется положить в гроб, или стану я столь некрасива, что сама не захочу показаться на глаза тому, кого люблю. Надо выбрать что-нибудь одно: или жизнь – и тогда заботиться о жизни, или смерть – и тогда честно подать ей руку. Но ты знаешь, и видишь, и понял, что жить я могу, только если будет со мною Генрих. Чтобы воскреснуть, мне нужно услышать его голос; чтобы стать счастливой, довольно увидеть его глаза. С ним я все могу, и мне самое небо отверсто, но без него мне дышать трудно, как рыбе на земле. Должно мне найти Генриха, и он мне скажет, приговорена ли я к жизни или к смерти. Но где же по всем немецким землям искать нам одного человека, который так могуществен, что может и не быть среди людей? Обегать города и селения в поисках, – не все ли равно, что разбирать стог сена, чтобы открыть затерянную шелковинку? Не ясно ли, что делать такие попытки, значит – искушать самого Бога?

Изумившись трезвости и последовательности речи Ренаты, которая в иные часы могла говорить как хороший схоласт, я ответил, что нахожу ее рассуждения правильными и жду, какое *ergo*<sup>15</sup> делает она из своих *quia*<sup>16</sup>. Тогда, голосом, более взволнованным, и с лицом, воодушевленным более, Рената заговорила так:

– Ты видел также, Рупрехт, что я молилась. Я воссылала творцу, все мольбы, какие умела, и давала все обеты, выполнить которые в силах женщина, а может быть, и большие! Но Господь остался глух к моему ропоту, и есть только одна сила, которая может мне помочь – и Один, к которому надлежит мне обратиться. Но никогда не соглашусь я осквернить свою душу смертным грехом, ибо душа моя отдана Генриху, а он – светлый, он – чистый, и ничто темное не должно к нему прикасаться. Поэтому ты, Рупрехт, который поклялся, что любишь меня больше спасения души, должен принять и этот грех, и эту жертву на себя.

Первоначально я не понял до конца этой речи и переспросил Ренату, о какой силе и каком другом думает она, но Рената смотрела на меня загадочно и только приближала ко мне свои большие глаза, не говоря ни слова, пока вдруг я не понял и не вскричал:

– Ты говоришь о Дьяволе, Рената!

И Рената ответила мне:

– Да!

Тут между нами произошел спор, ибо, как ни владела мною любовь к Ренате, как ни готов был я повиноваться единому ее знаку, чтобы сделать ей угодное, но такое неслыханное требование всколыхнуло всю мою душу до самых ее глубин. Я сказал прежде всего, что вряд ли Господь Бог не сумеет отличить истинного виновного и что если даже я погублю свою душу, прибегнув к содействию врага человеческого, то не менее погубит и она свою, посылая на это дело меня, ибо убийца даже менее виноват, нежели подкупивший его; далее, – что вряд ли и сам владыка ада может оказать какую-либо помощь в таком предприятии, ибо занят он уловлением человеческих душ, а не переписью населения, кто где живет, да к тому же граф Генрих, будучи, по описанию самой Ренаты, святым, конечно, не подвластен силам преисподней и, по воле, может ослепить и отвести взоры слуг Вельзевула; наконец, – что я решительно не знаю путей в тартар, что многое в рассказах о пактах и договорах с Дьяволом есть бабьи сказки, что,

---

<sup>15</sup> Вывод (*лат.*).

<sup>16</sup> Так как (*лат.*).

может быть, самая магия есть обман и заблуждение и что, во всяком случае, не легко нанять проводника, который добросовестно укажет дорогу прямо к Сатане.

Говорил все это я в раздражении, порой сам не веря в свои слова и впервые здесь допустив в обращении с Ренатой даже грубое и насмешливое, но она, возражая мне слабо, предложила мне смотреть, что она будет делать. Из принесенного ею мешочка достала она несколько веточек: вереска, вербены, волкозуба, лебеды и еще какой-то травы с белыми цветами, названия которой я не знал. Левой рукой Рената сорвала с веточек лепестки и бросила их через голову на пол, но потом вновь подобрала и расположила на столе кругом. Потом посредине этого круга воткнула нож, обвязала его ручку веревкой, передала эту веревку мне и сказала, глядя на меня внимательно:

– Прикажи трижды, чтобы она доилась, во имя его.

Я, смотревший молча на все эти ведьмовские затеи, невольно проговорил трижды:

– Во имя Дьявола, доись!

Тотчас из-под ножа вытекло несколько капель молока, а Рената радостно всплеснула руками, охватила меня за плечи и восклицала:

– Рупрехт! Милый Рупрехт! Ты можешь! В тебе есть сила!

Я, совсем в гневе, потребовал, чтобы она не морочила меня фокусами, но Рената, переменяв свой ликующий голос на ласкательный, стала уговаривать меня, прижимаясь ко мне, как к возлюбленному, и заглядывая мне в лицо:

– Рупрехт! Что значит спасение души, если ты меня любишь? Не должна ли любовь быть выше всего, и не должно ли приносить ей в жертву все, даже райское блаженство? Сделай, что я хочу, для меня, и после Генриха ты будешь для меня первый во всем мире. И, кто знает, может быть, судия праведный не обвинит тебя за то, что ты возлюбил много, и осудит тебя не на вечную геенну, но лишь на временные муки чистилища. А я с моим Мадием, – клянусь тебе в этом девством Богородицы, – не забуду воссылать за тебя моления даже в куцах рая!

Я мог бы сказать, что поддался обольщению женщины, как Сампсон Далилы или Геркулес Омфалы, но, не желая лгать, признаюсь, что два соображения тогда пришли мне на ум. Первое, – что, действительно, грех, совершаемый за другого, тяжел лишь вполовину на весах справедливости, и второе, – что, может быть, в согласии моем не будет и никакого реального греха, ибо вряд ли Рената в самом деле найдет способы поставить меня пред лицом Дьявола. Поэтому я не только уступил нежной настойчивости, но и, как хладнокровный игрок, сделал важную ставку, ответив, наконец, Ренате, что отказывать ее просьбам нет у меня сил и что ее счастью готов я пожертвовать своей жизнью, этой и вечной. Рената же, когда я произнес это свое торжественное обещание, стала глубоко-строгой и вдруг, преклонившись предо мною до земли, униженно поцеловала мне колени, так что охватило меня и смущение и стыд, и я не знал, что делать или что говорить, и воистину пожелал отдать за нее и жизнь и душу!

И когда, немного спустя, я спросил Ренату, каким путем должен я искать содействия Князя Тьмы, и она ответила мне без колебания: «Ведь завтра среда, и ты легко найдешь его на обычном шабаше», – я хотя и не мог не содрогнуться, вспомнив все рассказы о мерзостных и постыдных обрядах, совершаемых на этих запретных собраниях ведьм и демонов, – однако не возразил ни словом и не выказал ничем своего волнения. А Рената в тот вечер была ласкова необыкновенно, и ту ночь я вновь провел на ее постели около ее еще чуждого мне, но все же нежного тела.

## II

Все, что произошло на следующий день, хочу я описать с особым тщанием, ибо придется мне рассказывать о вещах спорных, многими в наши дни подвергаемых сомнению и для меня самого не вполне уясненных. До сих пор, отойдя уже на далекое расстояние от того дня,

не умею я сказать с полной уверенностью, было ли все пережитое мною – страшной правдой или не менее страшным кошмаром, созданием воображения, и согрешил ли я перед Христом делом и словом или только помышлением. Хотя сам я и склоняюсь ко второму мнению, но не в такой мере, чтобы не искать прибежища у милосердия божия, которое, будучи неисчерпаемым, одно может оправдать меня в случае, если не призрачны были совершенные мною кощунства. Поэтому воздержусь я от всякого решения и буду пересказывать все, что сохранила мне память, – так, как если бы то была явная действительность.

С самого утра Рената стала готовить меня к принятому мною на себя делу и, постепенно, словно случайно упоминая то об одном, то о другом, знакомить меня с черной сущностью всего, что я должен был исполнить и о чем я знал лишь весьма неопределенно. Не без смущения узнал я в подробностях, какие богохульные слова должен буду я произнести, какие богопротивные проступки совершить и что за видения вообще ожидают меня на том празднестве. Но в то же время соблазн любопытства, которое Фома Аквинат называет пятым из смертных грехов, разгорался во мне настолько яростнее, что я сам выпрашивал у Ренаты мелкие подробности о том, что могло ожидать меня на собрании, и сердце мое билось столь же упоительно, как у мальчика, впервые идущего в объятия сладострастия. Прибавлю еще, что в такой мере был я тогда ослеплен страстью к Ренате, что, когда, пораженный ее осведомленностью в делах ведовства, спросил внезапно, по своему ли опыту она знает все это, и она ответила мне, что нет, но из признаний одной несчастной, я почти не усомнился в этом отрицании и согласен был верить в ее чистоту.

К вечеру все было у нас готово, и я более порывался ускорить время, нежели медлил. Но Рената, напротив, была грустна, как Ниобея, порою глаза ее наполнялись слезами, и чаще обычного прибавляла она к моему имени слово «милый». Когда же настал час темноты и мне можно было приступить к моему запретному делу, проводила меня Рената до двери в нашу третью уединенную комнату, на пороге ее стояла долго, не решаясь расстаться со мной, и наконец сказала:

– Рупрехт, если есть в тебе хотя капля колебания, оставь это предприятие: я отказываюсь от своих просьб и возвращаю тебе твои клятвы.

Но меня уже не могли бы остановить *ni Rey ni Roche*<sup>17</sup>, как говорят испанцы, и я ответил:

– Исполню все, что обещал тебе, и буду счастлив, если погибну за тебя. Верь, что буду смел и не изменю ни себе, ни тебе. Люблю тебя, моя Рената!

Здесь в первый раз мы сблизили губы и поцеловались, как любовники, а Рената мне сказала:

– Прощай, я пойду молиться за тебя.

Я выразил сомнение, не может ли молитва повредить в таком предприятии, но Рената, печально покачав головой, сказала:

– Не бойся, так как ты будешь далеко отсюда. Только сам остерегайся произносить святые имена...

Оборвав речь, она отстранилась порывисто; я следил взором за ней, уходящей, но, когда она скрылась в свою дверь, почувствовал в себе ту ясность ума и решимость воли, какие всегда испытывал в час опасности, особенно перед решительным боем. Вспоминая наставления Ренаты, я затворил и запер на задвижку дверь комнаты и тщательно закрыл полотном все щели около нее, окно же было раньше завешено наглухо. Потом, при свете сальной лампочки, раскрыл я ящичек с мазью, данной мне Ренатою, и попытался определить ее состав, но зеленоватая, жирная масса не выдавала своей тайны: только исходил от нее острый запах каких-то трав. Раздевшись донага, я опустился на пол, на свой разостланный плащ, и стал сильно втирать себе

<sup>17</sup> Ни король, ни тура (*исп.*); здесь: никто.

эту мазь в грудь, в виски, под мышками и между ног, повторив несколько раз слова: «emen – hetan, emen – betan», что значит: «здесь и там».

Мазь слегка жгла тело, и от ее запаха быстро начала кружиться голова, так что скоро я уже плохо сознавал, что делаю, руки мои повисли бессильно, а веки опустились на глаза. Потом сердце начало биться с такою силою, словно оно на веревке отскакивало от моей груди на целый локоть, и это причиняло боль. Еще сознавал я, что лежу на полу нашей комнаты, но когда пытался подняться, уже не мог и подумал: вот и все рассказы о шабаше оказались вздором и эта чудодейственная мазь есть только усыпительное зелье, – но в тот же миг все для меня померкло, и я вдруг увидел себя или вообразил себя высоко над землею, в воздухе, совершенно обнаженным, сидящим верхом, как на лошади, на черном мохнатом козле.

Сначала все у меня в голове туманилось, но потом я сделал усилие и вполне овладел своим сознанием, ибо только оно одно могло быть мне проводником и защитником в чудесном путешествии, которое я совершал. Освидетельствовав животное, которое несло меня через воздушные сферы, я увидел, что то был совершенно обыкновенный козел, явно из костей и мяса, с шерстью, довольно длинной и местами свалявшейся, и только когда, оборотив ко мне свою морду, он посмотрел на меня, заметил я в его глазах нечто дьявольское. Тогда не подумал я о том, каким образом вышел из своей комнаты, в которой хотя была маленькая печурка, но с трубою очень узкой; однако позднее узнал я, что одно это обстоятельство не может служить доказательством призрачности моего путешествия, ибо Дьявол есть *artifex mirabilis*<sup>18</sup> и может с неуловимой для глаза быстротой раздвигать и снова сдвигать кирпичи. Равным образом не задумался я во время самого полета над вопросом, какая сила могла поддерживать существо, столь тяжелое, как козел, вместе с тяжестью моего тела, над землею, но теперь думаю, что можно в этом видеть ту же inferнальную силу, которая позволяла подыматься на воздух Симону-вохву, о чем свидетельствует Святое писание.

Во всяком случае, мой адский конь держался в струях атмосферы очень прочно и летел вперед с такой стремительностью, что я, дабы не упасть, принужден был обеими руками вцепиться в его густую шерсть, а от ужасной скорости движения ветер свистел мне мимо ушей и было больно груди и глазам. Освоившись с чувствами летающего человека, стал я смотреть по сторонам и вниз, заметил, что держались мы много ниже облаков, на высоте небольших гор, и различил некоторые местности и селения, сменявшиеся подо мною, словно на географической карте. Разумеется, я совершенно не мог участвовать в выборе дороги и покорно неслись туда, куда спешил мой козел, но по тому, что не встречалось на нашем пути городов, заключал я, что летели мы не по течению Рейна, но, скорее всего, на юго-восток, по направлению к Баварии.

Полагаю, что воздушное путешествие длилось не меньше получаса, а то и дольше, потому что успел я вполне привыкнуть к своему положению. Наконец означилась перед нами из мрака уединенная долина между голыми вершинами, освещенная странным синеватым светом, и, по мере того как мы приближались, слышнее становились голоса и виднее фигуры различных существ, сновавших там, по берегу серебрившегося озера. Мой козел опустил низко, почти к земле, и, домчав меня до самой толпы, неожиданно сронил на землю, не с высокого расстояния, но все же так, что я почувствовал боль ушиба, а сам исчез. Но едва успел я подняться на ноги, как меня окружило несколько иступленных женщин, так же обнаженных, как я, которые подхватили меня под руки, с криками: «Новый! Новый!»

Меня повлекли через все собрание, причем глаза мои, ослепленные неожиданным светом, сперва ничего не различали, кроме каких-то кривляющихся морд, пока не оказался я в стороне, у опушки леса, где, под ветвями старого бука, чернела какая-то группа, как мне показалось, людей. Там женщины, ведшие меня, остановились, и я увидел, что то был Некто, сидящий на высоком деревянном троне и окруженный своими приближенными, но во мне

<sup>18</sup> Удивительный художник (лат.).

не было никакого страха, и я успел быстро и отчетливо рассмотреть его образ. Сидящий был огромен ростом и до пояса как человек, а ниже как козел, с шерстью; ноги завершались копытами, но руки были человеческие, так же как лицо, смугло-красное, словно у апача, с большими круглыми глазами и недлинной бородкой. Казалось, ему на вид не больше сорока лет, и было в выражении его что-то грустное и возбуждающее сострадание, но чувство это исчезало тотчас, как только взор переходил выше его поднятого лба, над которым из черных курчавых волос определенно подымались три рога: два меньших сзади и один большой спереди, – а вокруг рогов была надета корона, по-видимому, серебряная, изливавшая тихое сияние, подобное свету луны.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.